

Р 177363

СЕСАР М. АРКОНАДА



ИСПАНИЯ

НЕПОБЕДИМА



ОГИЗ * ГОСЛИТИЗДАТ * 1943.



СЕСАР МУНЬОС АРКОНАДА И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

I

Среди богатой повествовательной литературы о годах революционной борьбы в Испании и об освободительной войне героического испанского народа против кровавых банд генерала Франко и его германо-итальянских хозяев романам и повестям Сесара Муньоса Арконады принадлежит одно из видных мест как по социальной значимости, так и по художественным их достоинствам. Входя вместе с поэтом Рафаэлем Альберти и прозаиками Хосе Бергамином, Рамоном Х. Сендером и Мануэлем Д. Бенавидесом в состав передовой группы испанских писателей, ставшей на защиту интересов народа в годы, непосредственно следующие за свержением монархического строя в Испании и провозглашением республики, Сесар Муньос Арконада в течение ряда наиболее ответственных лет революционной борьбы в Испании находился в самой гуще событий, являясь не только их художественным изобразителем, но и участником.

Арконада родился в селе Астудильо (Паленсия) 5 декабря 1898 года в небогатой крестьянской семье, уже давно порвавшей с землей. Дед писателя занимал скромное место писаря в муниципальном совете (аконтамьенто) родного села. Отец Арконады сперва помогал деду в его несложной работе, а затем, сдав необходимые экзамены, добился места судебного стряпчего. Эту должность он сохранял до 1922 г., когда перебрался в Мадрид в качестве управляющего небольшой фабрикой электрической аппаратуры.

Свои первые годы Арконада провел в Астудильо; здесь же получил он и начальное образование в частной школе. Отправленный вскоре в Вальядолид, где жили родители его матери, Арконада поступил в среднюю школу, однако законченного среднего образования писатель получить не мог, так как родители его матери эмигрировали в Латинскую Америку и Арконаде пришлось вернуться в Астудильо, где он стал работать писарем у своего отца. К этому времени относятся и первые литературные опыты Арконады, его стихи и пьеса, разыгранная силами бродячей труппы актеров, а также статьи в мелкой провинциальной печати.

Село Астудильо — небольшой районный центр — ничем не отличалось от сотен других таких же испанских сел. Жители его занимались скотоводством, виноградарством, работали на каменоломнях, добывая гипс. Почти все население Астудильо, вспоминает Арконада о своем детстве, состояло из пастухов. Кругом было много отар овец. Пейзаж, как почти всюду в Старой Кастилии, носил суровый характер. Вокруг села теснились лишенные всякой растительности горы. Зимой было холодно, летом пыльно и нестерпимо жарко. Жизнь в селе текла однообразно, крупнейшими событиями в ней были ярмарки, стрижка овец, сбор винограда или случайное появление труппы бродячих актеров.

Отец мой, — говорит Арконада в своей автобиографии, — считал, что занятие литературой дело пустое и ничего не сулит в будущем. Вероятно, он был по-своему прав, но я, к несчастью для него, чувствовал непреодолимое влечение к литературе и только к литературе. Начались семейные раздоры, принявшие вскоре тем более серьезный характер, что я дружил с людьми, слышными в нашем селе за безбожников и анархистов. Я задыхался в пошлой провинциальной среде и с радостью принял предложение отца поехать в Мадрид, чтобы принять там участие в конкурсе на замещение государственной должности».

В Мадриде, куда Арконада попал в тревожные дни первой мировой войны и где провел два года (1914—1916 гг.), он занимался больше литературой, чем подготовкой к экзаменам. В результате он потерпел неудачу и вынужден был вернуться в Астудильо. В 1917 г. в Испании вспыхнула всеобщая забастовка, с которой совпало по времени широкое движение в армии (так называемое движение «военных хунт» или «кризис штаб»), правда, закончившееся неудачно для противников королевского строя, но положившее начало долгим годам гражданской междоусобицы. Арконада и некоторые из его провинциальных друзей стали на сторону революционеров, и это ухудшило и без того трудную для будущего писателя жизнь в селе и еще более обострило его отношения с семьей. Арконада вскоре был вынужден вторично перебраться в Мадрид (1918), где ему, наконец, удалось поступить на службу в почтовое ведомство.

В 1920 г. Арконада перевелся на работу в административный центр своей провинции — Паленсио. Здесь он вошел в состав редакции газеты умеренного направления. В газете он работал днем, сотрудничая почти во всех ее отделах. Вечером же опять превращался в почтового служащего.

В 1922 году, накануне правительственного переворота, поставившего у власти Примо де Риверу, Арконада снова переехал в Мадрид и сразу включился в литературную жизнь. С 1925 по 1930 год он был одним из редакторов мадридской «Литературной газеты». В состав редакции входили люди разных политических направлений. Арконада являлся главным представителем того направления, которое ориентировалось на испанскую компартию и на СССР.

В 1925—1927 годах в испанской литературе появляется группа высокоодаренных молодых писателей и поэтов. К этой эпохе относится «Цыганский романсеро» Гарсия Лорки, его лирическая драма «Марьяна Пинеда», первые поэмы Альберти и др. К этой же эпохе относятся и первые крупные вещи Арконады.

В апреле 1931 года в Испании была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Через два месяца после этого Арконада вступил в ряды тогда еще численно весьма слабой испанской компартии.

За годы существования в Испании республиканского строя Арконада вел по поручению партии работу среди служащих почт и телеграфов.

Одновременно с литературной работой Арконада активно участвовал в развернувшемся в стране передовом литературном движении, сотрудничая в основанном в 1933 году Рафаэлем Альберти и Марией Тересой Леон журнале «Октябре». В эпоху так называемого «черного двухлетия» (1934—1935 годы), когда Альберти и его жена были вынуждены жить в эмиграции, Арконада являлся фактическим руководителем движения. В 1935 г. он издавал в Мадриде журнал «Наше время», выходящий вместо разгромленного полицией «Октябре», а также был душой ряда других передовых журналов («Буква», «Строка» и т. д.). На первом международном конгрессе писателей в защиту культуры, собравшемся в Париже летом 1935 г., Арконада, вместе с Альберти, был заочно избран секретарем испанской секции организованного там международного бюро.

Когда в феврале 1936 года в Испании победил на выборах Народный фронт, Арконада сделался литературным редактором вновь возникшего «Мунто обреро», где поместил ряд интересных критических отзывов и статей (в том числе очень интересный разбор испанского перевода романа «Полная чаша» М. Шолохова).

Война 1936—1939 гг. застала Арконаду на севере, в Ируне. В качестве военкора «Мунто обреро» Арконада направился в Астурию. Здесь он оставался до захвата этой области мятежными генералами и был свидетелем и участником осады республиканцами Овьедо и героических боев астурийских горняков с численно превосходившими их силами противника. После захвата севера и северо-запада Испании мятежными войсками, Арконада перебрался в зону Леванта, жил в Валенсии, Мадриде и Андалусии. В это время он усиленно работал над своим большим романом на тему освободительной войны в Испании «Река Тахо», получившим одну из литературных премий на конкурсе 1938 г. Последний период войны Арконада провел в Барселоне.

Когда в 1939 г. Каталония была потеряна республиканцами, Арконада вместе с остальными беженцами перешел через французскую границу. Заключенный в концлагерь сперва в Перпиньяне, а затем в Сен-Сиприене, Арконада едва избежал смерти, так как правительство Франко требовало его выдачи. 30 апреля 1939 года Арконада приехал в Советский Союз. Здесь, на родине трудящихся, им написан ряд произведений, пользующихся любовью советского читателя, в частности наших бойцов и командиров.

В настоящее время Арконада возглавляет журнал «Интернациональная литература» — первый художественный журнал, выходящий в Советском Союзе на испанском языке.

II

Сам Арконада делит свое творчество на три периода: первый — юношеский, к которому он относит свои стихотворные сборники «Жажда» и «Город», а также книгу о композиторе Дебюсси и биографию киноартистки Греты Гарбо, второй — довоенный — романы «Турбина», «Бедняки против богачей», «Раздел земли», сборник поэм «Мы живем темной ночью» и «Три фарса для кукольного театра», и третий — эпохи войны 1936—1939 гг. Сюда относятся: «Романсы войны», гротескный фарс «Завоевание Мадрида», получивший первую премию на театральном конкурсе, организованном департаментом пропаганды провинциального совета Астурии весной 1937 г. и, наконец, большой, до сих пор еще не опубликованный на испанском языке роман «Река Тахо», вышедший пока только в русском переводе.

К этим трем периодам следует в настоящее время прибавить четвертый — период пребывания автора в Советском Союзе, или период великой отечественной войны.

Оставляя в стороне первую, подготовительную, эпоху в творческой жизни Арконады, с ее увлечением испанской разновидностью футуризма — ультраизмом, обратимся к рассмотрению важнейших произведений второго и третьего периода. В своей автобиографии Арконада вспоминает о том сильном влиянии, какое оказали на него «Города и годы» К. Федина, «Бронепоезд» Вс. Иванова, «Разгром» Фадеева и некоторые другие произведения советской литературы. «Они заставили меня слушаться с заоблачных высот, — признается он. — заставили понять, что настоящую жизнь там построить невозможно».

«Стиль Федина, — пишет далее Арконада, — оказал на меня особенно сильное влияние. В нем обнаружил я то сочетание реализма с лириче-

ской стихией, которое больше всего отвечало моему темпераменту и вкусам, сложившимся на основе великих традиций кастильской поэзии и прозы».

Этот глубокий интерес к советской литературе, восхищение ею, стремление притти к социалистическому реализму предохранили Арконаду от тех болезненных левизны, которыми была заражена испанская литературная молодежь и, в частности, от чрезмерного увлечения западноевропейским «сюрреализмом», которого не избежали даже такие своеобразные и богато одаренные поэты, как Гарсия Лорка и Альберти, не говоря уже о большом количестве других, менее оригинальных представителей нового поколения в испанской литературе.

Подготовительный период в формировании Арконады как писателя завершился в 1930 году, когда появился его первый большой роман «Турбина», сразу обеспечивший за ним одно из ведущих мест среди писателей молодого поколения, получившего наименование «поколения социальной тревоги». 1930 год был, вообще говоря, очень богат в Ислаии книгами, свидетельствующими о новых настроениях в рядах испанской литературной молодежи, прежде старавшейся держаться в стороне от политической борьбы, а теперь вынужденной определить свое к ней отношение. Плодом этих новых настроений явились такие романы и повести, как «Магнит» Рамона Х. Сенлера, «Блокгауз» и «Механическая Венера» Хосе Диаса Фернантеса, «Хусто Евангелин» Хоакина Артеривса, поэмы Рафаэля Альберти, Эмилио Прадоса, Паскуэля Пля-и-Бельтрана и др.

Сюжетом для «Турбины» послужило одно из детских воспоминаний Арконады о том, как в его родном селе появилась первая электрическая лампочка, и о той борьбе, которую вели против нее отсталые испанские крестьяне. В рассказ об этой борьбе искусно вплетена любовная история. Роман завершается трагическим эпизодом. Старик крестьянин, возненавидевший турбину, которую строят молодые монтеры на арендуемой им мельнице, убивает одного из них — любовника своей дочери, бросая его под турбину в момент ее пуска. Написанный в характерном для Арконады лирическом стиле, роман отличается большой свежестью и силой. Его основная тема — жизнь и борьба испанской деревни, порывающей со своим старым укладом, — является характерной для всего последующего творчества Арконады, ставшего с течением времени едва ли не самым крупным среди писателей молодого поколения выразителем чаяний обездоленного испанского крестьянства.

«Наследственный крестьянин», тесно связанный с деревней всем своим прошлым, Арконада необычайно живо чувствует все нужды своего класса и умеет изобразить их с большой силой и искренностью. При этом он не только «крестьянский писатель», каких до него было немало в испанской литературе, но простой бытописатель. Его крестьянство и деревня принадлежат к определенной эпохе в истории Испании — к тридцатым годам XX века, когда испанские крестьяне не еживали полосу революционных чаяний и надежд. Романы Арконады являются в силу этого ценнейшим документом революционной эпохи, достовернейшей хроникой борьбы, которую испанская деревня вела в эти годы против темных сил реакции.

Все эти отличительные свойства таланта Арконады обнаружили себя с полным блеском и очевидностью в другом его романе, вышедшем через год после установления в Испании республиканского строя: «Бедняки против богатей» (1932). Роман этот был встречен весьма холодно, если не просто враждебно, официальной критикой. И понятно почему. Описывая жизнь небольшой кастильской деревушки Моркуэнде в месяцы, непосредственно предшествовавшие апрельскому перевороту 1931 года и за ним следовавшие, Арконада на параллельном изображении судьбы трех семейств (крестьянина-бедняка дяди Аюки, буржуа дона Насарио

и жандармского сержанта Хуана Рамоса и его подчиненных) сумел очень ярко показать все уродливые стороны капиталистического строя, превращающего обездоленного и несчастного испанского крестьянина, бедняка и середняка, в рабочий скот на землях помещика. Роман дает историю гибели как дяди Люки, забитого насмерть жандармами, так и двух его сыновей, павших в борьбе за народ. Торжествуют помещики в лице дона Насарно и ему подобных, но это торжество носит временный характер. Такова основная идея романа. Правда, он заканчивается описанием неудачной стачки моркуэндских батраков, поверивших, что буржуазная республика улучшит их жизнь, но тем большее значение приобретают заключительные строки, призывающие крестьян не отчаиваться, а продолжать борьбу.

Ту же тему борьбы «бедняков против богачей», но только на другом этапе, разворачивает и повесть Арконады «Раздел земли» (1935).

Место действия здесь переносится из Кастилии в Эстремадуру, эту, по выражению Сервантеса, «богатую землю». Но Эстремадура в условиях нового республиканского строя, ни в чем не именованного рабский труд испанской деревни, оказывается «богатой только для богачей». Кругом на огромное расстояние тянутся помещичьи заповедники, а эстремадурские крестьяне гибнут от безземелья. Разуверившись в обещаниях республиканского правительства, крестьяне небольшого села Робледильо весной сами приступают к разделу земли. В дни сбора урожая являются стражники, крестьяне попадают в тюрьму, помещики снова торжествуют. Но крестьяне, томясь в тюрьме, полны стремления продолжать борьбу, у них уже есть союзники. Таким в повести Арконады является передовой учитель Педро Альфар, помогающий крестьянам организовать «раздел земли». Правда, Альфар вынужден покинуть село, но он выходит окрепшим из борьбы. В повести обнаруживается та особенность таланта Арконады, которую он сам, как мы видели, считает характерной для своего творчества, а именно, сочетание реалистических приемов письма с мягким лиризмом.

Наконец центральная вещь третьего периода его творчества — «Река Тахо» — представляет собой крупнейшее произведение испанской литературы об освободительной войне 1936—1939 гг. В этом романе мы находим и новые черты, свидетельствующие о несомненном росте автора. Роман изображает те изменения, которые претерпевает в условиях освободительной войны против мятежных генералов и их германо-итальянских хозяев жизнь пастушьего села, заброшенного в горах дикой Сьерры де Грета. Арконада говорит уже не только от лица обездоленного испанского крестьянства, а от лица всего своего многострадального народа, вступившего в отважную борьбу с силами мировой реакции, духовно растущего в этой борьбе. Символом этого роста в романе является пастух Чапаррехо, превращающийся из неграмотного, невежественного парня сперва в начальника партизанского отряда, а затем в командира республиканской армии. Борьба с иностранными поработителями пробуждает его классовое и национальное сознание, заставляет работать над собой, превращает в духовно развитого человека. На судьбе невесты Чапаррехо, Флоры, дочери военного, Арконада показывает те изменения, которые вызвала война среди наиболее честных представителей испанской мелкобуржуазной молодежи, присоединившихся к своему народу в его тяжелой и славной борьбе.

Основную мысль романа передает исполненное горячего патриотизма и высокого лиризма обращение автора к реке Тахо, являющейся для испанца тем же, чем для нас Волга. В этом обращении, призывая Тахо не пропустить ненавистного врага в глубь страны, Арконада зовет свой народ к новым подвигам, к победе.

Представляя собою первую часть задуманного писателем большого цикла, «Река Тахо» должна дать широкое историческое полотно, изображающее героизм испанского народа. Вторая часть, над которой сейчас работает писатель, рассказывает нам о судьбе, постигшей героев романа после временной победы в Испании франкистов. (Чапаррехо попадает во французский концлагерь, Флора остается в Испании.) Третья часть должна изобразить нам встречу героев в Испании, уже свободной и победившей.

В Советском Союзе развернулся новый, плодотворный период литературной деятельности Арконады. Арконада написал ряд статей и стихотворений, из которых наиболее замечательны стихи о тов. Сталине, несколько пьес («Мадридская цыганочка» — по одноименной повести Сервантеса, «Мельничиха» — по повести Педро Аларкона «Треуголка» и др.). Особенно же широко развернулась творческая деятельность Арконады с момента вероломного нападения германо-фашистских мерзавцев на Советский Союз.

Центральное место в четвертом, «советском» периоде творчества Арконады занимают публикуемые нами антифашистские повести сборника «Испания непобедима» и более поздние «Новеллы о Мадриде». Они написаны в эпоху великой отечественной войны и, по признанию самого писателя, навеяны ее героическими эпизодами. В этих повестях и новеллах Арконады мы находим дальнейшее расширение круга его тем, усиление той интернациональной струи, которую мы уже видели в «Реке Тахо». В «Расказе в трех письмах и одном сообщении» тема борьбы Испании переплетается с темой борьбы народов Советского Союза: за свои зверства над беззащитными испанскими городами немецкий летчик несет расплату под Москвой. В рассказах «Наседка» и «Сопrotивление» автор задался целью показать читателю патриотизм простых людей — крестьянки и рядового бойца, жизнь которых слагается из «малых» дел. Наконец рассказы «Чудовище» и «Храбрый партизан» навеяны подвигами советских танкистов и партизан.

В «Новеллах о Мадриде» («Оружейная лавка», «Под небом Мадрида», «История трех бродяжек», «Возвращение в Мадрид» и др. — всего восемь повестей) запечатлены эпизоды из жизни «великого города Испанской славы». Эта книга, написанная в дни разгрома немецких полчищ под Москвой, представляет собою такой же отклик Арконады на события великой отечественной войны, как и публикуемый нами сборник. Могучий образ героической Москвы ассоциируется в сердце писателя с образом героического республиканского Мадрида.

Теме отечественной войны посвящен также ряд прекрасных стихотворений Арконады: «Ленинград», «Привет тебе, Москва», «На могиле Ленина», «Красной Армии», «Реки мира Дону» и др.¹

Письма, получаемые Арконадой от советских читателей, — среди них есть письма от бойцов, которыми писатель очень гордится, — показывают, что, постоянно расширяя рамки своей тематики и стремясь к ее всемерному обогащению, он стоит на правильном творческом пути. Сейчас он достиг большого расцвета своего таланта. Заналившись в пламени двух отечественных войн — испанской и советской, Арконада по праву может называться подлинным писателем-антифашистом.

Ф. В. Кельин

¹ Из других работ Арконады отметим пьесу «Годовщина» и либретто антифашистской оперы «Новая Кармен».

РАССКАЗ В ТРЕХ ПИСЬМАХ И ОДНОМ СООБЩЕНИИ

Первое письмо

— Элена, ты капризничаешь, как избалованный ребенок! Сразу видно, что ты из военной семьи. Военные так воспитывают своих дочерей, словно готовят их в жены князьям, а потом... потом девушки выходят за обыкновенных чиновников, вроде меня.

Однако упреки — упреками, а отказа донье Элене все-таки никогда не бывало. Дон Альваро Лафуэнте, чиновник барселонской таможни, был много старше своей жены и не решался ни в чем ей перечить. В неравных браках всегда уступает более слабый. Отказывать в чем-нибудь жене гораздо хлопотливее, чем уступить ей.

Речь шла об очередной прихоти доньи Элены: она просила мужа купить моторную лодку. Донья Элена была дочерью морского офицера, долго жившего в Кадисе, и страстно любила море. Она непременно вышла бы замуж за моряка, если бы не мысль о связанных с этой профессией долгих отлучках из дому; поэтому она выбрала таможенного чиновника. Это, конечно, не то, что моряк, но все же и таможенный чиновник тесно связан с морем.

И вот сперва супруги жили в Кадисе, потом в Виго, в Валенсии, а теперь поселились в Барселоне, в приморском квартале Барселонете, в двух шагах от набережной. Из одних окон квартиры открывался вид на порт и суетящуюся в нем толпу, из других — на чудесную голубизну Средиземного моря.

Этот брак не тревожили грозы и вспышки молний. Дон Альваро был добрейший человек и ревностный чиновник, рабски преданный своим обязанностям. До шири морских горизонтов ему было далеко, кругозор его был тесен, как озеро или даже пруд. Но при всей своей ограниченности дон Альваро был добр, честен, аккуратен. С неустанным усердием, с педантической добросовестностью он в течение тридцати лет служил государству, и в частности, таможенному департаменту.

Жена ему попала совсем другого склада. Ей было тесно в узких рамках, в которые с готовностью замыкался ее супруг. Ей хотелось общества, новых знакомств, хотелось блистать красотой, посещать театры, участвовать в прогулках, в играх, путешествовать.

Она испытывала тщеславное удовлетворение, рассказывая кому-нибудь, что она дочь морского офицера, что она замужем за крупным таможенным чиновником и что они с мужем состоятельные люди.

Дон Альваро презирал светскую суету. Его интересовали только две сферы: служба и семья. Он был безупречным чиновником и супругом, но на нем лежала печать духовной бедности. Уж очень он был неприятителен, уж очень вял темпераментом. Душа его светила слабо, как пламя свечи.

Это несходство супругов могло бы стать причиной раздора, если бы не сын. Их объединяла любовь к Хосе-Мариа. Он связывал их, как арка связывает две колонны из разных материалов. Хосе-Мариа был очень красивый мальчик с черными живыми глазами, с большим, высоким лбом. Ему было семь лет. Он удивлял всех умом, живостью речи, изяществом манер. Этот ребенок был гордостью родителей. По характеру Хосе-Мариа больше походил на мать, чем на отца, — и это нравилось донье Элене. Отец же сознавал, что его собственные черты — ограниченность, чиновничья посредственность — как бы преодолены в сыне, и это радовало дону Альваро.

Мать часто оправдывала свои капризы ссылками на сына, а отец из любви к ребенку подчинялся этим капризам. Так и теперь: он, конечно, согласился купить моторную лодку. Стоило жене сказать: «Вот увидишь, Альваро, как нашему малышу понравятся прогулки по морю. Нельзя же, чтобы ребенок вечно сидел, словно мышь, в темной норе», — и дон Альваро тотчас сдался.

Однажды, апрельским утром, когда ярко светило солнце, все трое стояли в порту у памятника Колумбу. Они пришли посмотреть моторную лодку, которую продавал один морской инженер; он проигрался в карты, ему срочно нужны были деньги, поэтому он уступал лодку за полцены. Мальчик радовался той детской радостью, которая рождается мечтами, так легко разгорающимися в душе ребенка.

— Папа, а в Америку можно поехать на этой лодке?

Отец улыбнулся.

— Ну, это уж слишком далеко, сынок. Пока будете с мамой здесь кататься вдоль берега. А потом поедете на дачу.

— А ты с нами поедешь?

— Как-нибудь в воскресенье. У меня много работы на службе, да к тому же меня мутит на море.

— Ну, уж меня-то не будет мутить! Я ведь крепкий.

— Ты похож на своего дедушку, морского офицера, — сказала мать. — Он участвовал в страшной морской битве у Кубы.

Мальчик уже собрался было расспросить поподробнее об этой страшной битве, но тут они вошли на пристань, и это отвлекло его. Лодка ждала их. Она была очень красива — желтая, блестящая,

почти совсем новая. На носу красовалась надпись: «Чайка». Лодка слегка покачивалась на грязных волнах у пристани.

Они постояли несколько минут, любуясь ею. Вокруг тотчас собралась кучка зевак, которых всегда много на пристани; они с любопытством разглядывали попутателей. Зашел разговор о том, что для лодки нужен механик. Кто возьмется управлять этой морской стрелой? Дон Альваро сам, понятно, не мог. Он недурно вел свой корабль по бумажному океану у себя на службе, но вне этих мертвых вод был совершенно беспомощен. Нужен, стало быть, специалист-механик. Найти его нетрудно, сейчас много безработных. Даже и здесь, среди любопытных, теснившихся вокруг, наверно, найдется три-четыре человека, которые за самую скромную плату охотно возьмутся управлять моторкой — и сделают это как нельзя лучше. С механиком можно не спешить.

Решили немедленно испробовать лодку. Инженер провел ее к выходу из гавани, и все утро они катались по морю. Наконец сделка состоялась. Моторная лодка перешла в собственность дона Альваро.

На другой день дон Альваро получил на службе следующее письмо.

«Сеньору Альваро Лафуэнте, Барселона.»

Милостивый государы!

Вчера, когда вы производили испытание моторной лодки под названием «Чайка», я был на пристани в числе зрителей и слышал, как вы говорили, что вам нужен механик. Настоящим письмом хочу предложить вам свои услуги за любое вознаграждение, какое вы мне назначите. Я хороший механик. Сам я родом из Германии; в Испании случайно оказался без работы. Был моряком, плавал на торговых судах, имею аттестаты от различных промышленных училищ моей родины. Думаю, что мы с вами сойдемся, тем более, что в отношении платы мои требования весьма умеренны.

В случае, если найдете мое предложение подходящим, сообщите по адресу: Макс Шмидту, Цветочная улица, 46, кв. 3.

Ваш покорный слуга

Макс Шмидт».

В то время немцы в Испании пользовались большим уважением. Их мало знали. Обычно они приезжали ставить машины, монтировать оборудование. Считалось, что немцы серьезные люди и хорошие работники, опытные, трудоспособные, — этому не мешала их репутация обжор и неумеренных любителей пива. В Испании иностранца всегда предпочитают своему, ибо испанцы сверх меры презирают все отечественное, а все иностранное уважают — тоже сверх меры. Предложение, сделанное в письме, было принято без всяких колебаний.

На следующий день к дону Альваро явился Макс Шмидт, немец-механик. Это был молодой человек, белокурый, крепкого сложения, одетый в скромный синий комбинезон. Он довольно бегло говорил по-испански, но был немногословен. Все его жесты выражали скромность. Он произвел прекрасное впечатление, особенно на донью Элену. К тому же его требования были самые умеренные: даже испанец-механик не согласился бы работать за меньшую плату.

— Наголодался. должно быть, бедняга! — заметила потом донья Элена, пытаясь объяснить себе необыкновенную покладистость механика.

— Да уж наверно. Без работы в чужой стране...

Когда немец собирался уходить, в комнату вошел Хосе-Мариа. Его познакомили с новым механиком.

— Смотри, сынок, вот дядя, который будет каждый день катать тебя на моторке. Ты только не надоедай ему вопросами — он плохо знает по-испански.

Мальчик подошел к немцу. Тот приласкал его и улыбнулся.

— Какой чудесный ребенок! Мы с тобой будем друзьями, правда?

Хосе-Мариа очень серьезно ответил:

— Если мы друзья, так ты должен мне показать, где у моторки колеса, которые ее двигают. Я хочу научиться ею управлять. Все рассмеялись.

— Покажу. Ты, я вижу, умный мальчик. Ты быстро научишься.

Так началось знакомство скромного механика с семейством дона Альваро. Затем пошли прогулки, катанья по морю, поездки на пляж, в живописные места на побережья, почти ежедневные посещения порта. Механик отлично правил лодкой и ухаживал за ней не за страх, а за совесть. Лодка всегда была в порядке и готова к отплытию. Никогда ни малейшего повода для упреков или недоразумений. Несмотря на постоянное общение с семьей дона Альваро, механик строго соблюдал границу между ними, хозяевами, и собой, подчиненным. Только с мальчиком он держался проще, и в конце концов между ними завязалась горячая дружба. Часто они гуляли вдвоем, отправлялись на пляж или в городской парк. В дождливую погоду механик нередко проводил вечера в доме дона Альваро, играя с Хосе-Мариа. Этот мальчик с первого же взгляда пленял своим милым нравом; нельзя было не полюбить его за живой ум, доброту и изящество. А для мальчика в дружбе с механиком-немцем было то обаяние, которое всегда есть для детей в дружбе со взрослым, с человеком, не принадлежащим к семье; кроме того, в ней было еще и что-то от моря, что-то таинственное и необычайное.

Эта дружба привела к тому, что со временем и у родителей установились с Максом Шмидтом более теплые отношения. Дон Альваро

поселил его у себя в доме, и он жил у них, почти как член семьи. Иногда он рассказывал им о себе. У него не было отца. Мать работала прачкой в предместье Гамбурга. Бедность заставила его пойти в море. Он с увлечением учился на механика... Правду ли он говорил? Этого никто не знал.

Однажды Макс Шмидт тяжело заболел; его свалила гастрическая лихорадка. Дон Альваро и донья Елена ухаживали за ним, как за родным сыном. Приглашали лучших врачей, покупали дорогие лекарства, готовили особые блюда. Мальчик целые часы проводил у его постели. Каждый день он приносил ему угощение. Он входил в комнату, спрятав руки за спиной и, наклонясь к изголовью больного, весело спрашивал.

— Дядя Макс, отгадай, что у меня в руках?

— Не знаю. Какая-нибудь игрушка.

— Смотри! Это тебе.

И мальчик показывал бутылку виноградного сока, которую сам купил для больного. Потом забирался к нему на кровать, и они вместе играли, болтали, обсуждали будущие прогулки по морю, рассказывали друг другу, что приходило на ум; мальчику никогда не надоедало слушать о моряках и приключениях.

— Ты меня очень любишь? — спрашивал мальчик, обнимая Макса.

— Больше всех на свете! — отрезал тот, целуя ребенка.

Так прошло два года. В семье дона Альваро на механика стали смотреть как на своего человека, словно он жил у них всю жизнь. Мальчик по целым дням не расставался с ним и любил его не меньше, чем своих родителей. По мере того как он становился старше, росла и крепла их дружба.

Однажды Макс Шмидт пришел к своим хозяевам, держа в руках письмо, и упавшим голосом сказал:

— Я должен вернуться в Германию. Моя мать при смерти.

Это было истинным горем для всех, особенно для Хосе-Мариа. Немца отпустили без всяких возражений, только взяли с него слово, что он скоро вернется. Хосе-Мариа попросил, чтобы он привез ему игрушечный самолет.

— Будьте покойны, — сказал немец, — я постараюсь вернуться как можно скорее. Если моя мать умрет, — на то воля божья, — у меня на родине никого не останется. Единственно близкие — вы... и Испания.

Второе письмо

Испания начинала волноваться, словно загорались пески в пустыне и ветер разносил пламя.

Молодежь захватывала одну за другой все области обществен-

ной жизни; она проникла и в государственные учреждения, нарушая их бюрократический покой, принося с собой дыхание улицы, политическую страстность. Никогда еще разница между старыми и молодыми служащими не была так разительна, как теперь, — их разделяла бездна. Старые винили молодых в том, что из-за них в учреждениях упала дисциплина, завелся беспорядок, неуважение к старшим, равнодушие к работе. А сами старики разбились на два лагеря: одни под влиянием общего брожения умов тоже сделались политиками, но политиками-реакционерами. Другие — меньшинство — попрежнему держались в стороне от жизни и считали, что чиновник при любом правительстве должен верой и правдой служить государству, а политика совсем не его дело.

К этим последним принадлежал и дон Альваро. Никто не слышал от него ни одного слова, которое выдало бы его политические взгляды. Это был типичный старый чиновник, всегда в черном, в нарукавниках, с птичьей шеей, немного сутулый, с хилым телом и бледным лицом, с маленькой бородкой, почти совсем седой. Погруженный в дела своей таможни, он не видел перед собой ничего, кроме номеров дел, бумаг, отношений. Все остальное, как бы оно ни волновало других, оставляло его равнодушным. Недоступный для политических страстей, как и для любых других, он походил на бесшумную машину, на бесплотную таинственную тень, упавшую на стол, заваленный бумагами. Одна лишь честолюбивая мечта тревожила его душу — несколько жестокое желание, чтобы его сослуживцы, продвинувшиеся дальше, чем он, по служебной лестнице, поскорее умерли, и он мог бы получить следующий чин и место начальника управления. В остальном же он был добродушен, спокоен, мягок характером, очень набожен и очень скромно.

По своей наивности и оторванности от жизни дон Альваро так и не понял истинного смысла письма, которое он как раз в это время получил из Германии от Макса Шмидта, своего бывшего механика.

Прошло полгода с его отъезда. В первое время вся семья сильно скучала по нем. Хосе-Мария то и дело спрашивал: когда же вернется дядя Макс и привезет ему самолет? Несколько удивляло, что он не пишет. Должно быть, его мать очень больна и ему не до писем. Так как Макс не возвращался, моторную лодку продали. У доньи Элены завелась новая прихоть: купить автомобиль и дачу на берегу моря для отдыха от городской суеты. Но этой мечте не суждено было осуществиться.

Все очень обрадовались, когда пришло письмо из Германии. Наконец-то «дядя Макс» вспомнил о них. С любопытством вскрыли письмо. Аккуратно приладив очки, дон Альваро стал громко читать:

«Сеньору Альваро Лафуэнте, Барселона.

Уважаемые и бесценные друзья мои!

Простите, что не писал вам раньше: я был очень занят все это время. Я вас не забыл и не забуду никогда. Я часто вспоминаю вас всех, особенно моего дорогого Хосе-Марию, которого крепко целую. Во время моего пребывания в Барселоне вы относились ко мне с таким великодушием и добротой, что забыть об этом было бы черной неблагодарностью. То же могу сказать и об Испании, которую люблю, как свою вторую родину и которой желаю всякого успеха.

Теперь, дорогие друзья, мне хотелось бы с вами рассчитаться. Я работал у вас механиком в течение 665 дней, что при жаловании в семь песет составляет всего 4635 песет. Прилагаю чек на эту сумму и еще сто песет на покупку самолета для Хосе-Марию, который он при прощании просил меня привезти из Германии.

Мое нижайшее почтение донье Элене. Нежно целую Хосе-Марию и крепко обнимаю вас, дон Альваро.

Очень возможно, что нам придется свидеться в недалеком будущем.

Искренний привет. Прощайте, мои дорогие друзья.

Капитан Бернгард Фромм».

Письмо это повергло всех в изумление. В нем было несколько загадок. Каким образом Макс Шмидт стал капитаном Бернгардом Фроммом? Или он уже был капитаном, когда жил у них? Значит, все, что он рассказывал про мать, про ее бедность, про свою жизнь, — все было ложью? И зачем ему понадобилось возвращать заработанные деньги?

— Нехорошо. Мы не нуждаемся в них, — сказала донья Элена.

Механическая расплата за доброту оскорбляет испанца. Как ни педантичен был дон Альваро, ему тоже не понравился этот холодный возврат денег, как будто радушие, оказанное механику его семьей, было не проявлением благородства, свойственного испанцам, а чем-то вроде капитала, который можно отдать в долг под проценты. Но подоплека этого дела так и осталась непонятна простодушным супругам: они пытались все объяснить чудачеством немца.

.....

Механик Макс Шмидт, он же капитан Бернгард Фромм, этот таинственный немец, этот иностранец, «влюбленный» в Испанию, — был шпионом. Шпионом! Как легко было ему работать в Испании! Может быть, за это он так и любил испанскую землю? Во всякой другой стране его работа была бы дьявольски опасной. А здесь, среди доверчивых, простодушных испанцев, она была легка и не сопряжена с риском.

Бернгард Фромм был младшим сыном в семье коммерсанта, разорившегося во времена Веймарской республики. Семья жила в Берлине. Во время войны 1914 года отец отсиживался в учреждении по реквизиции провианта. До войны он держал в бедном квартале плохонькую аптекарскую лавочку, которая приносила мало дохода. Неизвестно путем каких махинаций — хоть и имелись кое-какие предположения на этот счет — ему удалось по окончании войны расширить свою лавочку и превратить ее в один из самых крупных магазинов квартала. Но процветание было только видимое. В послевоенные годы предприятие мало-помалу пришло в упадок. Фромму грозило разорение, когда появился Гитлер со своей трескучей демагогией. Аптекарь примкнул к национал-социалистам. Он верил, что Гитлер завоюет, как обещал, весь мир, и тогда его, Фромма, аптекарские товары получат мировое распространение.

Младшее поколение Фроммов было представлено тремя братьями и двумя сестрами. Все они были не очень разборчивы в вопросах морали, все были замешаны в не совсем чистоплотные дела. Младший, Бернгард, чтобы хоть чем-нибудь заняться, учился в промышленной школе, так как имел некоторую склонность к механике. Но как только стали организовываться банды фашистских убийц, он бросил школу, которая, в сущности, мало интересовала его, и вступил в один из таких отрядов, состоявший из праздношатающихся политических бандитов... Когда их верховный глава, Адольф Гитлер, пришел к власти, Бернгард за свои заслуги был принят на службу в гестапо, где и приобрел выгодные связи.

Одним из первых мероприятий немецкого фашизма была рассылка во все страны шпионов. Послали этих «уловителей душ» и в Испанию, страну постоянного революционного брожения. Шпионы завелись в Мадриде, в Кадисе, в Алхесирасе, в Марокко, на Канарских и Балеарских островах. Бернгард Фромм был послан в Барселону; ему поручили вести шпионскую работу в порту и на Каталонском побережье.

Для него было большой удачей поступить механиком моторки к таможенному чиновнику. Эта работа представляла огромные удобства для выполнения его миссии. А впрочем, пожалуй, и без нее дело пошло бы гладко. В Испании шпионы всегда чувствовали себя свободно — почти как дипломатические представители. Никто их не подозревал, не разоблачал, не преследовал. В Испании все были уверены, что шпион — существо фантастическое, встречающееся лишь в романах. Неудивительно поэтому, что и дон Альваро принял Шмидта к себе на службу и, даже прочитав его довольно недвусмысленное письмо, не усмотрел в нем ничего подозрительного.

Какое приятное положение для фашистского «любителя Испании»! Служить в почтенном семействе, — это охраняло его от всяких подозрений, — постоянно бывать в порту, в любое время пользоваться-

ся лодкой, — немудрено, что информация Шмидта была точной и подробной. Закончив свое дело в самый короткий срок, он вернулся в Германию — так ворон улетает, склевав все мясо — и был вознагражден по заслугам: получил чин капитана и вскоре поступил в авиационную школу, где прошел ускоренный курс обучения и стал пилотом.

.....

После того как германский фашизм собрал жатву, подготовленную его шпионами, началось его вторжение в другие государства.

Есть на Западе страна, имя которой Испания. Посмотрите на нее: говорят, она похожа на бычачью шкуру, разостланную на синеве моря, как ковер. В течение веков этот ковер топтало множество жадных захватчиков, но испанский народ, отважный, как быки на андалусских пастбищах, всегда изгонял их.

В 1936 году германский фашизм протянул лапу к Испании, соблазнившись ее шахтами, ее фруктовыми садами, ее выгодным стратегическим положением. «Новый порядок» фашистских бандитов стал распространяться за пределы Германии.

Война, война!

Народ мой, древний народ! Ты снова сумел стать тем, чем ты был во все времена — стойким в страданиях, мужественным в сражениях, неутомимым в самозащите. Слава тебе, народ мой! Твое имя всегда было незапятнанным, как чистая небесная лазурь. Но, несмотря на все твое самоотвержение, твои города были разрушены бомбами фашистской авиации. Несмотря на героическую храбрость твоих сынов, фашисты временно захватили твои земли. Несмотря на доблестную защиту свободы, фашизм связал тебя цепями своей тирании.

Война, война!

Народ мой, древний народ! За твои страдания ты будешь вознагражден. За твое мужество тебе воздадут почести. За твое сопротивление ты получишь свободу. Народ мой, моя Испания, будущее принесет тебе несчетные счастливые весны.

.....

Для дона Альваро, миролюбивого старого чиновника, первые дни войны были особенно тягостны, так как, сидя, словно в скорлупе, в своем таможенном управлении, он, как перепуганный ребенок, представлял себе всякие ужасы и с трепетом ждал неминуемых катастроф. Но ничего такого не произошло, и мало-помалу он успокоился. В Барселоне мятеж был подавлен в первые же дни, и город больше года жил в покое и довольстве, воспринимая войну как отдаленное эхо. Но даже эти отголоски не достигали канцелярии, в которой сидел дон Альваро, погруженный в бездушный мир офи-

циальных бумаг. С кем он был и против кого? Ну, конечно, с тем правительством, которое в данный момент управляло страной; так он поступал всю жизнь; именно так, по его мнению, должен был поступать чиновник. Никогда от него нельзя было услышать ни хорошего, ни дурного отзыва о фашистах. Никогда с его уст не сходило ни одного слова ни за, ни против республиканцев. Он добросовестно, с мелочной аккуратностью выполнял свои обязанности, а остальное его не касалось.

Для Бернгарда Фромма начало войны в Испании было счастливейшим временем жизни. Дорогу фашизму! Германия присоединит к себе испанские земли. Хайль Гитлер! Кто восстает против этого? Три-четыре испанских бедняка? Так пусть они умрут! Кто оказывает сопротивление? Несколько городов? Мы разрушим их бомбами с наших самолетов! Кто протестует против империалистических планов Германии? Республиканское правительство? Мы свергнем это незаконное правительство!

И с эскадрильей бомбардировщиков Бернгард Фромм отправился в Испанию, арену своих недавних похождений. Работа шпиона протекала во мраке неизвестности, но теперешние его труды принесут ему славу. Положим, ему скажут: «Приготовьтесь бомбардировать Барселону» — вот когда ему пригодится близкое знакомство с этим городом!

Однажды утром эскадрилья прибыла в Бургос, пролетев над Францией, как над собственной землей. Из Бургоса полетели в Саламанку. То были тяжелые дни для Мадрида, когда фашисты пытались захватить его врасплох. Эскадрилья Фромма стяжала себе позорную славу ноябрьскими бомбардировками и поджогами; она бомбила госпитали, библиотеки, детские дома, музеи, чтобы терроризировать население и добиться сдачи города.

Потом Фромм был легко ранен. Два месяца он пролежал в госпитале в Севилье. Поправившись, он присоединился к своей эскадрилье, которая к этому времени была переброшена на аэродром в Табладу. Наступили трагические дни падения Малаги. Вместе со своими летчиками Фромм принял участие в расстреле из пулеметов мирного населения, бежавшего по дорогам. После этой «победы» его имя попало в список отличившихся. В этом нет ничего удивительного, раз у фашистов бандитизм — почетное дело. Затем эскадрилья двинулась на север, в Виторию. Германские стервятники носились по всей Испании, всюду сея разрушение и смерть, выполняя свою «цивилизаторскую» миссию. После Витории бомбили Бильбао, Сантандер, Хихон. В числе «бесстрашных» эскадрилий, бомбивших Гернику, была и эскадрилья капитана Фромма. Эта бомбардировка стала знаменитой наряду с другими варварскими злодеяниями германской авиации. Вскоре Фромм получил чин майора, ибо у варваров варварство почетно.

Иногда Фромм вспоминал о своих старых барселонских друзьях. «Они, конечно, с нами, — думал он; — это хорошая, почтенная семья. А вдруг их расстреляли красные? А мой маленький Хосе-Мария? Очаровательный ребенок!»

— Хотел бы я еще разок побывать в Барселоне, — говорил он своим приятелям. — Там у меня есть друг, прелестный восьмилетний мальчик. Вот вы его увидите. Я обещал привезти ему из Германии игрушечный самолет.

Желание Фромма скоро исполнилось. Из северной Испании его эскадрилью послали на Балеарские острова, не затем чтобы подышать средиземноморским воздухом или погреться на солнце Леванта, но чтобы продолжить свои подвиги и распространить культуру бомб на восточное побережье страны. Великий немецкий поэт Гейне воспел «белоснежные цветы миндаля» и «благоухающие апельсины»; а спустя столетие немецкие фашисты бомбили Валенсию, город благоухающих апельсинов и белоснежных цветов миндаля.

Наконец они добрались и до Барселоны. Здесь у Бернгарда Фромма были друзья, знакомства и связи. Бомбить начали с Барселонеты, квартала, расположенного у самого порта, как раз там, где жил дон Альваро. Одна бомба попала в рынок утром, в час, когда там толпится особенно много народу. Были убиты сотни женщин.

Если киркою разрушить мышиную нору, мыши перепугаются: возмущаться они не умеют. Дон Альваро прожил в мышиной норе всю свою жизнь, но теперь, когда начали падать бомбы, когда он воочию увидел разрушенные дома, целые семьи, уничтоженные бомбами, смерть и гибель, — он стал другим человеком. В душе его закипело негодование.

— Ты видишь, Элена, что делают эти варвары! Это бесчеловечно! Они разрушают наши города, терзают нас, убивают. Разве это люди, — те, что прилетают к нам на этих адских машинах? Бог не простит им. Увидишь, он их покарает! — говорил дон Альваро, негодуя до глубины души.

Перепуганная жена его решила уехать подальше от опасного района. Больше всего на свете она боялась за сына, и сейчас эти опасения были вполне основательны. Они покинули полуразрушенную Барселонету и поселились в центре города, на улице Кортесов, в бельэтаже.

То, что дон Альваро вдруг нарушил молчание, обсуждалось на все лады его сослуживцами. Особого удивления это не вызывало: теперь часто случалось, что люди, казалось бы ко всему равнодушные, начинали вдруг громко возмущаться варварскими фашистскими бомбардировками; но все-таки это было событие.

Дома Хосе-Мария спрашивал отца:

— Это немцы прилетают к нам на самолетах и сбрасывают бомбы?

— Да, сынок — отвечал дон Альваро; — они хотят разрушить Испанию.

— А дядя Макс такой же скверный, как они? Он тоже немец? Да, папа?

— Макс немец, но, я думаю, он не такой скверный, как эти летчики. Он слишком любил нашу страну, он не может быть среди тех, кто ее разрушает.

В это время произошло первое нападение фашистов на Арагон с целью проникнуть в Каталонскую область. Фромм получил от своего начальства секретный приказ — вызвать в Барселоне панику, терроризировать население бомбардировками.

Все уже знали, что означает такой приказ: дождь бомб над наиболее заселенными частями города и в часы, когда можно разом убить больше всего народу. Таков фашистский способ насаждения «культуры».

Было ясное, сияющее мартовское утро. Ослепительное солнце Леванта заливало апельсиновые сады и голубое море. Оно лилось в открытые балконные двери буйно, неудержимо, как золотая пена через край хрустального бокала. Да, это был чудесный день, такой день, когда хочется быть ласковым со всеми, дышать полной грудью, смотреть на мир открытыми, счастливыми глазами, с сердцем, свободным, как у горного орла. И вот, несмотря на все это... О фашизм! Черная туча над миром!

Был полдень. Сирены не успели загудеть. Несколько немецких эскадрилий внезапно появилось над Барселоной. Дон Альваро был на службе, как всегда по утрам. Донья Елена готовила в кухне обед. Хосе-Мариа играл на балконе.

Внезапно раздался первый грохот близкого взрыва, оглушительный, как горный обвал. Донья Елена бросилась к сыну. Она хотела защитить его.

— Хосе-Мариа! Хосе-Мариа!

Но мать не могла добраться до сына, отделенного от нее всего несколькими метрами. Каменные дома рушились по обеим сторонам улицы, превращаясь в груды мусора. Густые облака пыли стояли в воздухе. Улица Кортесов, проходящая в самом центре города, превратилась в огромную пустынную развалину. Нужны годы и годы, чтобы возводить города, строить дома, разбивать сады и городские кварталы, чтобы жизнь расцветала все новыми и новыми веснами. Но двух секунд достаточно фашистским воздушным «цивилизаторам» для того, чтобы все уничтожить, все разрушить, превратить в развалины, щебень и пыль.

Затем наступила глубокая тишина. Совершив свой «геройский» подвиг, самолеты удалились. Соседние улицы были усыпаны осколками стекла. Везде — горы мусора, гигантские пирамиды обломков.

Когда дон Альваро вышел из убежища и вернулся к себе на службу, до его слуха донесли страшные слова:

— А в центре что делается, на улице Кортесов!

Его улица! С замирающим сердцем побежал он туда, но кругом все было оцеплено — его не пропустили. Он обошел по соседней улице Вальмеса и вдруг остановился, как вкопанный; его дома больше не существовало.

— Сын мой! Хосе-Мариа! Элена!

Все завертелось у него перед глазами; он упал без чувств. Его подняли и отнесли в кафе. Со всех сторон раздавались возгласы:

— Убийцы!

— Преступники!

— Это не люди!

Дон Альваро лишился всего. Фашистские бомбы его «друга» Макса Шмидта уничтожили его жену, его сына, его дом...

Начались печальные розыски близких по больницам, по моргам. Дон Альваро сам был похож на мертвеца, он едва держался на ногах: бледный, с ввалившимися глазами, весь в пыли, еле волоча ноги, он в отчаянии обращался ко всем с одним и тем же вопросом: где его жена, где его сын?

Мальчика так и не нашли. Донью Элену муж отыскал поздно ночью среди груды трупов. Она была сильно обезображена, дон Альваро узнал ее лишь по платью. После ее опознания к телу прикрепили номер. Похороны были назначены на следующий день. Но убитых было так много, всюду царил такой беспорядок, что за ночь номер перепутали, и когда на другой день дон Альваро со своими друзьями проводил на кладбище останки жены, произошло нечто неожиданное и ужасное: гроб открыли перед тем как опускать его в могилу, и... кто не пришел бы в ужас, увидев в гробу не донью Элену, а незнакомого мужчину, также изуродованного бомбой. Донью Элену так больше и не нашли. Все эти обстоятельства еще усугубили горе дона Альваро.

Но как динамит взрывает горы, так и фашистские бомбы потрясли его до глубины души, открыв перед ним новую, более широкую картину мира. Он увидел воочию, что такое фашизм, и возненавидел его; он понял, наконец, что и для чиновника не все равно, какое правительство стоит у власти; и, оставаясь набожным католиком, он стал на сторону республики против интервентов, против генералов, предавших Испанию, против всех тех надругательств, которые совершались над его родиной, против фашистов, разрушителей городов, убийц детей и женщин.

Перемена, происшедшая в доне Альваро, вызвала большие толки среди таможенных чиновников. Ему предложили более высокое назначение, но он отказался. Когда-то это было бы исполнением его мечты. Но теперь карьера его больше не интересовала.

Фашисты захватили Барселону. Дон Альваро не захотел эвакуироваться. В его годы нелегко было пускаться в путь. Да и что могли фашисты сделать ему, скромному чиновнику, не имеющему никакой власти, всю жизнь боящемуся политики как огня? Зачем им карать безвестного человека, ни во что не вмешивавшегося до той последней минуты, когда несчастье пробудило его?

Но фашистское правительство начало «чистить» государственный аппарат, и дон Альваро был уволен. Это обрушилось на него, как новая бомба. Конец его любимой работе, его тридцатилетней службе! А уж он ли не был примерным чиновником, уж он ли не любил свою канцелярскую пору! Вышвырнут на улицу — несмотря на его усердие, его способности, его стаж и честно заслуженную репутацию!

По Барселоне проходили колонны мавров, легионеров, немцев и итальянцев; на улицах пели победные песни, толковали о величии империи, кричали: «Да здравствует Испания!» А он, скромный гражданин, безвестный испанец — выгнан на улицу, оставлен почти что без куска хлеба!

Он поселился в семье одного из своих приятелей, в бедном домике на окраине. Несчастья состарили его. Он исхудал, побледнел, сторбился. Угрюмо и одиноко бродил он по окрестностям города, по паркам, не замечая ничего вокруг, ведя сам с собой бессвязный, отрывистый разговор. Испания, Испания! Во что они превратили былую мирную жизнь, счастливые прошлые дни! Что это за чума обрушилась на нас? Немцы и итальянцы предали нас этой страшной чуме. Мы должны очистить Испанию от этих убийц. Сын мой, сын мой, за что они убили тебя?.. И ты, Элена, что ты сделала этим варварам? А я? Тридцать лет верной службы государству!

Неожиданно он получил письмо, которое гласило:

«Сеньору Альваро Лафуэнте, Барселона.»

Дорогой и уважаемый друг мой!

Вот уже несколько дней как я в Барселоне. Узнав ваш адрес, спешу написать вам несколько строк. Приветствую всех вас, моих старых незабвенных друзей. Завтра ровно в 12 часов я буду иметь удовольствие зайти к вам. Поболтаем на досуге обо всем, что произошло за время нашей разлуки. У меня немало новостей, которые я хочу вам рассказать. Наверное, и у вас также.

Сердечный привет, донье Элене, крепко целую моего дорогого Хосе-Марию, которого так хочу увидеть. Завтра передам ему самолет, который он просил привезти.

Дружески обнимает вас ваш друг

майор Бернгард Фромм.

Теперь дон Альваро сразу и до конца понял это письмо. Его прежний механик — германский офицер, один из ненавистных захватчиков его страны. Дон Альваро с презрением отшвырнул письмо.

На следующий день в назначенный час Макс Шмидт явился к дону Альваро. Какое неожиданное впечатление произвели они друг на друга! Перед немцем предстал старик, тень человека, которого он когда-то знал, исхудалый, опустившийся, почти нищий. А дон Альваро увидел полного сил, надменного, выхоленного молодца, одетого в блестящий военный мундир и лишь отдаленно напоминавшего скромного механика Макса Шмидта. Оба стояли в нерешительности, не зная, что сказать. Наконец немец, более уверенный в себе, прервал молчание.

— Как вы изменились, дон Альваро! У вас случилось какое-нибудь несчастье?

— Да, погибли жена и сын.

— Да что вы? Неужели?..

— Теперь страдает вся Испания... вся Испания, — покорно продолжал дон Альваро.

— Да, война! — И летчик стал утешать старика. — Что поделаешь? Как ни велико ваше горе, не отчаивайтесь: теперь, при фашистском строе для Испании настанет счастливая пора. Вы ведь сторонник порядка, вы будете с нами, не правда ли?

— Никогда я не буду с разрушителями наших городов, с разорителями нашей страны! Я прежде всего испанский патриот.

— Что вы говорите?.. Вы — старик, вы не понимаете... Посмотрите, вот я, немецкий летчик. Я люблю Испанию не меньше, чем вы. А ведь я сам бомбил некоторые города, бомбил и Барселону. Что поделаешь — война! Надо же было уничтожить красных. Видели вы, как я разделал улицу Кортесов... Это ведь я сделал и моя эскадрилья.

Дон Альваро побледнел, дрожь прошла по его телу. Глаза его сверкнули гневом и ненавистью. Он бросился на немецкого летчика с криком:

— Убийца! Фашистский убийца! Так это ты убил моего сына и мою жену!.. Бандит! Убью!

Он схватил фашиста за горло и стал душить со всей силой, какая еще оставалась в его хилем теле.

— Убийца, убийца!

Фашист резким движением оттолкнул дону Альваро. Тот упал.

— С ума сошел, старый идиот!

Он распахнул дверь и выскочил из комнаты. Дон Альваро собрал все силы, вскочил, выбежал на лестницу и закричал:

— Мерзавцы! Вот зачем вы явились в Испанию — убивать женщин и детей!

Сапоги летчика стучали уже по последним ступеням лестницы,

у самого выхода. Дон Альваро бросился назад в квартиру, выбежал на балкон и, перегнувшись через перила, как безумный начал кричать вслед удаляющемуся немцу:

— Бандиты! Разрушители городов! Убийцы детей! Держите его, держите! Убейте его! Вот этого мерзавца! Он убил моего сына...

Так он кричал, пока летчик не скрылся из виду.

Дон Альваро вошел в комнату. Изнемогая после нервного потрясения, он упал на стул, схватившись руками за голову, едва дыша.

Игрушечный самолет, который фашист принес его сычу, валялся на столе, как скорбное напоминание. Дон Альваро вспомнил своего мальчика, своего дорогого Хосе-Мариа. Снова поднялся, обеими руками схватил самолет и в бешенстве разбил его об стену.

— Мерзавец! Немецкий шпион! Фашистский бандит!

На следующий день явилась полиция и отвела дона Альваро в тюрьму. Позже, как много тысяч других испанцев, он был заключен в концентрационный лагерь.

Сообщение

Опустошив Испанию, банды немецких фашистов принялись грабить другие народы. То, что они проделали в Испании, они повторяли в других странах. в других городах, над другими женщинами и детьми. И, наконец, спустя три года, в июне, эти ненасытные звери бросились на Советский Союз, отечество всех трудящихся. Бандиты думали, что теми же средствами они и здесь добьются тех же результатов. Однако их преступные расчеты потерпели крушение.

И вот однажды, когда германская авиация тщетно пыталась совершить в Москве то же, что она делала в Испании, советское Информбюро передало краткое сообщение, которым мы окончим наш рассказ:

«Вчера нашими истребителями сбит бомбардировщик, который пытался прорваться к Москве сквозь нашу линию обороны. Самолет разбился. Летчики погибли. У одного из них, командира Бернгардта Фромма, найдены письма и документы, относящиеся к Испании, и фотографический снимок Барселоны, что доказывает его участие в бомбардировках испанских городов».

Если бы дон Альваро, старый таможенный чиновник, все еще сидящий в концлагере и все еще надеющийся, что захватчики будут побеждены и изгнаны из Испании, — если бы дон Альваро мог прочитать это сообщение, он, конечно, воскликнул бы:

— Спасибо вам, советские летчики! Вы заплатили этим бандитам по старому счету,

ЧУДОВИЩА

Антонио провел детство в горах Каталонии, среди низкорослых пиренейских лесов, и там он испытал незабываемое переживание, страшное и фантастическое. Впоследствии оно не раз всплывало в его памяти.

Однажды зимой пропал пастух; должно быть, его съели волки. И вот родилась таинственная легенда и, как туман в горах, поползла все дальше и дальше, передаваясь из уст в уста. Однажды в доме, где жил Антонио, было вслух произнесено слово, которое составляет сущность этой легенды. Это случилось ночью, когда особенно разгорается воображение, когда отовсюду, из оконного стекла, из кровли хижины, из дымовой трубы, ветер извлекает разнообразные загадочные звуки.

Говорили о пропавшем пастухе, и бабушка, для которой волки были слишком простым, обыденным явлением, а потому и мало интересным, промолвила:

— В горах живут страшные чудовища!

Никто не обратил внимания на эти слова. Но, кроме взрослых, среди слушателей был шестилетний мальчик — Антонио. Он тихо про брался поближе к бабушке и долгое время спустя, когда все уже говорили о другом, шопотом, с расширенными глазами, спросил:

— Бабушка, а какие они, чудовища?

— Чудовища, дитяtko, это — огромные, свирепые звери; их шкуру не прбьешь никакой пулей, у них страшная пасть и лапы с острыми когтями, они громко рычат, а глаза у них горят, как угли.

— Бабушка, а ты их видела?

— Я-то нет, — сказала бабушка, — но другие видели и натерпелись страху. А потом мне рассказали.

На этом бы всему и кончиться, но у детей ничто не кончается так просто. Антонио крепко уверовал в существование чудовищ. После этой ночи горы стали казаться ему таинственными и опасными, — там ведь жили чудовища.

Антонио дружил с детьми лесника, жившего в самой глубине леса. Теперь он перестал у них бывать, так как боялся войти в лес. Но раз он повстречался со старшим из мальчиков на деревенском базаре, и тот стал звать его к себе; Антонио не посмел сознаться в трусости и обещал прийти.

И вот однажды он пошел. Было три часа пополудни. Сквозь ветви пробивался солнечный свет. Высокие деревья были так величавы и спокойны. Журчал ручеек, пели птицы. Издали доносились голоса дровосеков. Скрипела телега с дровами. И здесь живут чудовища? Нет, наверно, бабушка ошиблась!

Антонио долго играл со своими приятелями. Домик лесника

стоял на полянке. Тут было еще солнечно и светло, когда в лесу уже сгушался сумрак. Сама природа расставила мальчику ловушку. Прощаясь со своими друзьями, он думал, что у него хватит времени добраться до села, прежде чем его настигнет ночь. Но едва он вошел в чащу, как густые ветви погасили вечерний свет. Антонио стало страшно.

Он ускорил шаги, но его задержала переправа через ручей. Скоро темная ночь обступила его; деревья сливались во мрак. Сердце у Антонио забилося, задрожали ноги.

Теперь он был уверен, что из чащи на него вот-вот ринутся чудовища. За каждым деревом ему чудилась засада. И как раз, когда он проходил по самой чащобе, в кустах вдруг послышался шум, грозный, ужасный, словно заворочалась сама гора. Что-то огромное, живое, страшное выскочило оттуда и с рычанием пронеслось мимо. Все это длилось одно мгновение, но фантазия мальчика успела за этот миг нарисовать во всех подробностях страшный образ чудовища.

Верней всего, в кустах паслась заблудившаяся корова, которая при звуке шагов пустилась бежать. Но когда Антонио, дрожа и задыхаясь после перенесенного невыразимого страха, рассказал все бабушке, она не сказала ему: «Эх ты, дурачок, да ведь это была заблудившаяся корова!» Нет, она, покачав головой, назидательно произнесла:

— Видишь, дитяtko, я тебе говорила, что в горах живут чудовища. Не надо ходить в лес так поздно, а то и ты пропадешь, как тот пастух.

Немудрено, что Антонио долгое время был уверен, что на самом деле повстречался с таинственными чудовищами лесистых гор. Позже он перестал верить в чудовищ; но случай этот неизгладимо врезался в его память.

Когда Антонио исполнилось двенадцать лет, бабушка умерла. Его взял к себе дядя, рыбак, живший на Каталонском побережье. После стихии леса — стихия моря. Но Антонио уже не был ребенком. Двенадцать прожитых лет принесли ему кое-какую зрелость. Это был крепкий мальчик, живой, смелый, одновременно серьезный и веселый, с решительным характером. Он много помогал в работе своему дяде, старику-рыбаку, у которого была барка со старыми парусами.

Как все ребята на побережье, Антонио скоро увлекся морем. Самым большим удовольствием для него было — плавать. Немногие могли сравниться с ним в отваге, с какой он бросался в зеленые волны. Когда море было спокойно, он пренебрегал им, так как победа над ним была слишком легка. Но какое наслаждение купаться в бурные дни, когда нужны усилия, борьба, чтобы одержать победу над враждебной стихией!

В один из таких дней он заплыл далеко в море. Бушевал шторм. Небо было черное. Море ревело; тяжелые, могучие валы обрушивались на хрупкое тело мальчика. Но Антонио умел побеждать их, господствовать над ними, проплывать под ними, как сквозь горный туннель. И вдруг откуда-то поднялось детское воспоминание.

«Вот они, чудовища!» — подумал он, припомнив происшествие в лесу. Но он не испугался. Его гибкое отроческое тело, его крепкие руки бросали чудовищам вызов. Пускай рычат, ярятся, неистово бросаются на него, тащат его в пучину, — ему не страшно! Это чудовища, но чудовища, с которыми он в силах бороться, которым он подставляет грудь, как в бою.

Когда Антонио минуло двадцать лет, его забрали на военную службу, назначили во флот и отправили на Картахенскую морскую базу. Потом он служил на крейсере «Свобода».

Посмотрите, вот мимо проносится ласточка с соломинкой в клюве. Она лепит свое гнездо, она строит свое будущее. Человек в двадцать лет почти бессознательно тоже сплетает сеть своего будущего. Антонио казалось, что он знает свое будущее наперед. У него была невеста, Мария, дочь рыбака. Вот он вернется с военной службы и женится на ней, заведет собственную барку, станет рыбачить, как дядя, обзаведется семьей... Ему предстояла самая простая, обыденная жизнь. Но судьба человека не прочней, чем судьба ласточки с соломинкой в клюве. Ее тоже может смять буря.

Разлука не погасила любви Антонио к невесте. Он носил в бумажнике ее портрет; послал ей свою карточку, на которой был снят в морской форме; писал ей письма, в которых говорил о том, как они поженятся, когда он вернется домой, как будут жить. Военная служба была для него лишь случайным, недолгим отклонением от мирного течения его жизни.

Крейсер «Свобода», на котором плавал Антонио, представлял собой целый мир. Сотни самых разных людей — ненавистные начальники и многочисленные товарищи, любимые и нелюбимые, — были собраны на этом огромном пловучем сооружении из стали, которое бороздило море, странствуя от порта к порту и совершая военные маневры.

Антонио нелегко сходиллся с людьми. Он был не по летам серьезен, деловит, дисциплинирован; это мешало ему примкнуть к какой-нибудь из веселых компаний, которых было много на корабле. Среди матросов преобладали андалусцы — бойкий народ, всегда готовый на всякие забавы. Среди них у Антонио был один приятель — Рафаэль из Кадиса, кудрявый весельчак; курносый, приземистый, некрасивый, но зато великий мастер играть на гитаре и петь цыганские песни. Антонио влекло к нему различие их характеров. Но самые крепкие и самые многочисленные приятельские связи были у Антонио в кругу спортсменов, глав-

ным образом, пловцов, — в этом спорте он сам был одним из первых.

Что до политики, то нельзя сказать, чтобы Антонио был к ней равнодушен, но участия в политической борьбе не принимал. Каталонский патриот, влюбленный в свою страну, выросший на вольных морских просторах, не мог быть реакционером, но по темпераменту мир был ему ближе, чем война, тихая жизнь для себя — ближе, чем опасности борьбы и великодушное самопожертвование.

Однажды, в свободный день, когда почти весь экипаж был на берегу, Антонио зашел в одну из кают, разыскивая своего приятеля Рафаэля. В первую минуту ему показалось, что каюта пуста, и он уж хотел уйти, как вдруг заметил, что в углу за столом сидят Рафаэль и еще двое матросов — радист Гарсиа Менго и старший машинист Поло и разговаривают между собой. Антонио подошел к ним и весело обратился к своему другу:

— Сойдем, Рафаэль, на берег, прогуляемся по городу.

Все трое как-то неприветливо поглядели на него, а Рафаэль ответил с серьезностью, которой Антонио от него не ожидал:

— Товарищ, здесь заседает комитет судна, пожалуйста, оставь нас не надолго.

Антонио вышел. Но его очень удивило, что Рафаэль, легкомысленный андалусец, который как будто никогда ничем не интересовался, кроме гитары и своих песен, участвует в таком серьезном и важном деле. Да и что это за комитет, что он делает, что решается на его тайственных заседаниях? При первом удобном случае, оставшись наедине с Рафаэлем, Антонио задал ему этот вопрос.

— Разве ты не знаешь, — ответил Рафаэль, — что фашисты собираются поднять мятеж против республики и Народного фронта? Это ведь настоящие бандиты! Мы должны быть на-чеку. Здесь на корабле все офицеры — фашисты, кроме разве трех-четырех. А хуже всех капитан, про него мы наверняка знаем, что он связан с фалангистами. Фашисты хотят превратить Испанию в тюрьму. А с твоей Каталонией они расправятся еще покруче, чем с другими!

— Вот чудовища! — невольно воскликнул Антонио. Перед его внутренним взглядом прошел целый ряд командиров, самых жестоких, несомненных фашистов. Да, чудовища! В них, на самом деле, было мало человеческого.

— Можно на тебя рассчитывать? — спросил Рафаэль.

— Не сомневайся, дружище!

Так кончился для Антонио период «ласточки с соломинкой в клюве», мечты о своем тихом, маленьком, мирном будущем. Он по-прежнему писал письма своей невесте, но в этих письмах все меньше говорилось о женитьбе и всебольше о «фашистских пистолерах», о «преступниках, собирающихся задушить завоеванные нами свободы», о необходимости сурово их покарать, о том, что «все готово к

отпору, в случае если они решатся поднять мятеж». Антонио ста- действительным помощником судового комитета, а так как он делал основательно и добросовестно все, за что брался, то скоро он завоевал полное доверие самых суровых и закаленных антифашистов.

В ночь на 17 июля крейсер находился в водах Атлантического океана, держа курс на Картахенскую базу. Плавание проходило нормально. Вода, небо, ветер — все, казалось, спало в тишине жаркой июльской ночи; только невидимые волны неустанно неслись сквозь пространство и приносили срочные сообщения, предвещающие бурю:

— Алло, алло... говорит Мадрид, Мадрид... Морское министерство.

— Алло, алло... Фашисты подняли мятеж... Комитеты должны взять на себя ответственность за суда... Алло, алло... Держать курс на Картахену...

— Алло, алло... Да здравствует республика!

В эту летнюю ночь волны радио предвещали бурю. На севере уже шла жестокая, упорная борьба, — одни боролись за свободу, другие за тиранию.

Отстояв вахту, Антонио спустился в кубрик. Его уже одолевала дремота, когда к нему подошел Рафаэль и начал его будить.

— Антонио, Антонио!

Он тотчас вскочил, но глаза у него еще слипались.

— Что? Что случилось?

— Фашисты!.. Час настал!

— Мятеж?

— Да. Хотят изменить курс и отвести крейсер в Сеуту. Нам нужен дежурный на радиостанцию. Комитет назначил тебя. Ступай в радиорубку, наладь связь; держи также связь с нами, мы будем рядом, все в сборе.

Антонио бросился наверх. На крейсере были потушены почти все огни. Все было спокойно. Но куда шел крейсер, в фашистский порт или в порт республиканский?..

Антонио вбежал в радиорубку. Он так торопился, что едва не сшиб с ног человека, стоявшего в дверях.

— Стой! Что тебе нужно? — кричал тот.

На этот раз Антонио выручила его способность быстро ориентироваться в обстановке и действовать решительно. Человек в дверях, которого он толкнул, был офицер, охранявший вход. В каюте другой офицер с револьвером в руке принуждал радиста связаться с главарями фашистского мятежа. Антонио мгновенно кинулся на офицера, повалил его и разоружил. В тот же момент радист обезоружил другого офицера.

— А, негодяи! — воскликнул Антонио. — Вы хотите предать республику!

Офицеров заперли в соседней каюте. Антонио спустился вниз, чтобы сообщить комитету о случившемся. Комитет действовал столь же решительно, — мобилизовал за несколько минут весь экипаж, принял на себя руководство судном, снял всех офицеров, распорядился взять их под стражу.

— Те, кто за республику, пусть выступят вперед! — крикнул председатель комитета, машинист Поло.

Выступило пять офицеров, но один из них, который раньше всех вышел вперед, тотчас отступил, то ли смущенный тем, что другие еще не двигались, то ли оробев под строгим взглядом капитана.

Крейсер шел по направлению к порту, оставшемуся верным республике. В тускло освещенной каюте сидела большая группа фашистов, обезоруженных и бессильных; они были в бешенстве от своей неудачи. Антонио смотрел на их жестокие, искаженные злобой лица. И опять на язык ему навернулось то слово, которое больше всего к ним подходило.

— Чудовища!

Предать республику и Испанию! Превратить нашу свободную страну в подобие гитлеровской Германии или Италии Муссолини! Гнусный замысел!

Фашисты были арестованы, и судно под победоносным республиканским флагом беспрепятственно прибыло в оставшуюся верной правительству Картахену.

.....

К оружию, испанцы, к оружию против преступного фашизма!

Разразилась война, священная борьба за свободу, в защиту родины. Жизнь Антонио, как и жизнь всех испанцев, изменилась в корне; война все перевернула. Все жили только войной и мыслью о войне. Остальное стало призрачным и нереальным, как тихий удаляющийся берег.

Бои в Каталонии, в Арагоне, в Андалузии, в Эстремадуре... Кордова, Ирун, Бадахос, Талавера... И, наконец, Мадрид...

К оружию, мадридцы, на защиту любимого города от фашизма, который притаился в его окрестностях!

Началась героическая защита, затяжная борьба против преступников, осадивших город. Каждый честный испанец жаждал занять место в одной из траншей Мадрида, жаждал умереть в бою на сухой кастильской земле.

Когда Антонио узнал о формировании батальона моряков для защиты столицы Испании, он записался добровольцем. То же сделали и другие его товарищи. Отважные моряки, справившись с предателями-фашистами у себя на корабле, хотели дать им бой на суше.

Моряки готовились в Картахене к походу. Проходили воен-

ное обучение, снаряжались. Их единственным желанием было поскорее попасть в Мадрид, чтобы защитить его от осаждающих фашистских орд. Каждый день они с волнением обсуждали последние сводки, передававшиеся по радио:

— Немецкие танки, управляемые немецкими солдатами, ворвались в нашу страну и готовятся к решительной атаке на Мадрид... Но, несмотря на свою огромную технику, немцы встретят в Мадриде героическое сопротивление.

— Итальянские части, высадившиеся на полуострове, сжимают кольцо вокруг Мадрида... Но итальянцы скоро узнают, что такое патриотический подъем свободолюбивых испанцев!

— Марокканские части и пехота, прибывшие в Каса-дель-Кампо, стремятся проникнуть на улицы и площади, ворваться в дома нашего города... Но снова, как в исторический день второго мая, во время войны с Наполеоном, мадридцы, храбрые патриоты, грудью защищают город на баррикадах и в окопах и предпочитают умереть, чем отдать его фашистам.

— Мадрид отбивается!

— Мадрид наступает!

— Мадрид не пропустит фашистов ни на шаг вперед!

— Мадрид, Мадрид!

Сообщения о героическом сопротивлении Мадрида вызывали у всех радость и слезы восторга. Моряки не могли дожидаться отправки. Им хотелось двинуться сейчас же.

— Когда же мы выступим?

— Говорят, отправки ждут с минуты на минуту. Может быть, сегодня.

— Хоть бы поскорее!

Наконец моряки выступили из Картахены. Они прибыли в Мадрид. Был конец ноября; на подступах к героическому городу шли ожесточенные бои. Население Мадрида, всегда веселое и жизнерадостное, сумело и под пулями вести нормальную жизнь. Война вошла в быт. Мадридцы на трамвае ездили на фронт. Театры и кино всегда были переполнены. Дети собирали осколки бомб и играли ими. Все острили по поводу бомб, которые то и дело попадали в дома. Мадридцы, вечные шутники, шутили даже над смертью.

Однако фашистские бандиты нападали все с большим и большим ожесточением. Видно было, что они стремятся во что бы то ни стало овладеть Мадридом. Ходили слухи, что в ближайшее время на мадридском фронте должны появиться германские танки.

По приезде в Мадрид моряки несколько дней отдыхали. Однажды под вечер Рафаэль зашел в кофейню, где собралось несколько его приятелей, и предложил:

— У меня есть билеты на русский фильм, который называется «Мы из Кронштадта». Хотите, пойдём?

Все с радостью согласились. Рафаэль роздал билеты, и все пошли в кино. Театр был переполнен, особенно много было моряков.

Воцарилась глубокая, полная ожидания, тишина. Все взгляды приковались к экрану. Ни одна деталь не ускользала от внимания зрителей. Какое сильное впечатление производили на них многие эпизоды фильма! Когда во второй части картины советские моряки бросились в бой, зрители не могли больше сдержаться; они разразились оглушительными аплодисментами и приветственными возгласами. Героизм советских моряков при защите Петрограда вызвал огромное воодушевление у испанских моряков, защищавших Мадрид.

В тот момент, когда советский моряк при встрече с могучим танком опрокидывает его метко брошенной гранатой, Антонио локтем толкнул своего приятеля Рафаэля:

— Смотри, смотри, — прошептал он, — как он нападает на это чудовище!

Чудовище, чудовище... Антонио, не отрываясь, смотрел на экран. Сцена с танком крепко запомнилась ему.

Через несколько дней немецкие танки впервые двинулись в атаку на Мадрид.

— Танки! Танки идут!

Эта еще неведомая, грозная сила внушала ужас. Как остановить стремительное движение грохочущих железных громадин? Как может человек победить эту мощную чудовищную машину? Как помешать ей вторгнуться в город?

На батальон моряков была возложена почетная задача защищать Мадрид в траншеях, расположенных в его окрестностях. Неприятель непрерывно атаковал город, пуская в ход все новые средства. Перед тем как в бой были введены танки, неприятельское радио подготавливало почву, крича по целым дням о непобедимости этого нового оружия, под сокрушительным огнем которого Мадриду ничего не останется, как только сдаться.

Рота, в которой были Рафаэль и Антонио, занимала траншею в Каса-дель-Кампо, справа от Гарабитского холма. Впереди были выкопаны глубокие рвы и сооружены всякие другие препятствия для того, чтобы остановить движение танков. Ничто, однако, не помогло. Рано утром разнесся тревожный слух, что неприятельские танки приближаются к траншеям. Наступило замешательство. Неужели они пройдут? Республиканцы готовили пулеметы и винтовки. Среди бойцов были меткие стрелки, которые утверждали, что могут всадить пулю даже в игольное ушко.

Послышалось рычание и скрежет танков. Ближе... ближе... Вдруг на вершине холма показался первый танк; он полз, словно огромное неуклюжее животное, грузно волоча свое железное тело по неровной почве. За ним ползли другие танки. Из траншей нача-

ли стрелять, но скрежещущие машины, казалось, смеялись над пулями.

Они продолжали двигаться медленно, но неуклонно. Головной танк достиг переднего края препятствий. Все ждали, затаив дыхание. Может быть, не пройдет? Танк зарычал еще громче, накрепился влево, сполз в ров; затем его нос снова поднялся из рва. Ужас охватил бойцов. Несколько человек выскочили из траншеи и бросились бежать. Слышны были крики:

— А что же наша артиллерия? Почему молчит? Винтовками их разве удержишь!

Но другие остались в окопах, среди них Антонио и Рафаэль.

— Мы бессильны против этих железных слонов, — сказал Рафаэль.

На это Антонио ответил:

— А ты вспомни, Рафаэль, как в фильме один моряк уничтожил целый танк!

Только это он и сказал, и у Рафаэля нехватило времени ему ответить. Антонио вдруг быстро и ловко выскочил из траншеи и пополз по земле, как ящерица. Гибкое тело опытного пловца легко преодолевало все неровности почвы — и вот он оказался перед головным танком.

На таком близком расстоянии танк казался огромным, как гора, и совершенно неуязвимым. Антонио вспомнил чудовище, которое привиделось ему в детстве, в горах Каталонии; ему вспомнились чудовища-волны в бурном море, — как они набрасывались на него, а он спокойно и ловко ускользал от них и побеждал их.

«И этих чудовищ одолею!» — подумал он.

Железное страшилище все ближе — теперь пора! Антонио поднялся и бросил бомбу в нижнюю часть танка. Машина накрепилась. В следующее мгновение грохнул взрыв. Антонио поднял голову и увидел, как танк медленно клонится влево, точно раненый насмерть. В воздух взлетели куски железа. Из щелей танка начало выбиваться пламя. Один немец поспешно выскочил из танка, но выстрел Рафаэля из траншеи уложил его на месте.

Победа над танком, такая героическая и такая неожиданно быстрая, подняла дух бойцов. Бежавшие из траншеи вернулись в нее. Антонио ликовал.

«Как ни страшны эти чудовища, а мы их победим», — подумал он и пополз навстречу другим танкам; смущенные неожиданной катастрофой, они в нерешительности остановились.

Пулеметчик одного из танков открыл огонь по Антонио. А! значит, его заметили. Он изменил направление и снова пополз, плотно прижимаясь к земле. И вот во второй танк полетела бомба, брошенная меткой рукой. Она произвела еще более сильное действие, — чудовище было разрушено почти полностью.

Антонио вывел из строя также и третий танк, который шел следом за вторым. После этого неприятель не устоял. Оставшиеся танки начали поворачивать один за другим и обратились в бегство.

Антонио весь дрожал от волнения. Ему хотелось преследовать танки, уничтожить их все до единого своими меткими бомбами. Он вскопчил с земли и побежал вслед за ними.

— Вот вам, чудовища! — кричал он, бросая последние бомбы, которые у него оставались.

Но в этот момент пулемет одного из танков послал ему смертельную пулю, и герой остался лежать там, где одержал победу.

Танки удалялись, Рафаэль и другие моряки вышли из траншей, чтобы подобрать Антонио. Убит, убит! Рафаэль взял его в объятия и, едва удерживаясь от слез, перенес на санитарный пункт. Убит, убит... Моряки и солдаты толпились около повозки. Они хотели знать, что скажут врачи, есть ли хоть капля надежды, что герой узнает о своей славе. Убит, убит!

В этот день вся Испания, боровшаяся за свою независимость против варварского фашизма, воспевала славу первого героя—борца с танками, Антонио Колля.

Антонио погиб в борьбе, но его героический пример не пропал даром. Создалась целая школа истребителей танков, которая через некоторое время дала новых героев и новых отважных патриотов-антифашистов.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Их было восемь—статных, полных молодого задора юношей. А Нэло из Вильясеки был совсем другой: скрытный, задумчивый и молчаливый.

— Тебя от страха как червяка скручивает, — говорили ему товарищи.

Нэло чуть заметно улыбался, несколько не сердясь; опускал голову и становился еще молчаливее. Во время переходов он всегда шел с краю, словно какая-то часть его индивидуальности всегда стремилась уединиться. !

— Что у вас ловко действует, так это язык. А вот посмотрим, что будет, когда дойдет до дела, — пытался он иногда возразить.

А они действительно заливались соловьями. Особенно Матакуэрос; он был выше всех ростом и всех сильнее; остальные преклонялись перед ним, а он чванился своими подвигами и вечно рассказывал о том, как он убивал священников в начале войны, — что было выдумкой от первого слова и до последнего.

Матакуэрос пользовался большим влиянием в отряде, и только Нэло сохранял независимость. Это не значит, что он держал себя

вызывающе; наоборот, он был всегда очень скромен, даже робок. Случалось, что великолепный Матакуэрвос обнимал своего тихого товарища и говорил с покровительственным видом:

— Знаешь, Нэло, что тебе мешает? То, что у тебя, видно, сердце по-ком-то болит. Иссушила тебя какая-нибудь девчонка, которую ты оставил в Вильясеке... Но погоди, вот мы покончим с фашистами, и ты сможешь навестить ее.

Нэло уомехался, склонив голову набок, но не шел на откровенность.

— Для того мы и на войне, чтобы покончить с проклятыми фашистами! — говорил он после нерешительного молчания.

Однажды отряд поднимался по неровной каменистой дороге, с занесенными песком колеями. За оградами тянулись виноградники, небольшие огороды с цветущим горохом; виднелись деревья, белые домики. Начинала распускаться сирень. Лаяли собаки, уже встревоженные надвигавшимся сумраком.

Темнело, но контуры холмов и деревьев еще ясно выделялись на сером облачном небе. Впереди над дорогой высилась широкая гора; на нее должен был подняться отряд и сменить товарищей, защищавших передовую позицию, которая находилась немного левее вершины, на склоне, у горного перевала.

Однако, чтобы добраться до нее, нужно было еще несколько часов. Стал накрапывать дождь, быстро надвигалась ночь. Нэло и его товарищи спрятали винтовки под плащи, чтобы они не намокли. Кое-кто заткнул ствол пробкой. На тихой поверхности круглых усадебных прудов от дождя вскакивали пузыри.

Утром тут были грохот и сумятица сражения, но сейчас не слышалось ни выстрелов, ни голосов, ни шагов. Изредка с отдаленной дороги доносился тягучий скрип телеги. В войне словно бы наступила передышка. Однако, под покровом тишины, всюду по горным склонам были разбросаны сторожевые посты, всюду в окопах сидели стрелки — фашисты и антифашисты, два противоположных мира; дула их винтовок были направлены друг против друга.

Солдаты затянули песню. Лица их были мокры от мелкого весеннего дождя, но эта влажная прохлада казалась им приятной. Борода Матакуэрвоса, густая и жесткая, как дубовый кустарник, тоже вся намокла, и трубка у него погасла. Он остановился, чтобы ее разжечь.

— Спой нам зауспокойную, Фоса! — обратился он к крепкому и плечистому парню, который шел с ним рядом. — На этот счет ты, должно быть, большой мастер!

Но Фоса¹, которого так прозвали за то, что он добровольно брал на себя обязанности могильщика и выполнял их с большим стара-

¹ По-испански «яма».

нием — рыл всегда поглубже, так, чтобы убитый боец, не тревожимый никем, мог спокойно спать под толстым слоем земли, — Фоса, обычно покладистый и добродушный, не принял на этот раз шутку и коротко ответил:

— Не дури, брат, пойдём-ка, не будем отставать!

Вместо зауспокойной, все запели песню, которая начиналась так:

В селе я оставил девчонку.
Та-ра-дей! та-ра-дей!
Когда мы побьём фашистов,
В село я вернусь за ней.

Один лишь Нэло не присоединился к хору; закутавшись в плащ, он шагал у самой придорожной ограды, как-то особенно одинокий сейчас — под дождем, в вечернем сумраке.

После получаса ходьбы они подошли к штабу своего подразделения. Он помещался в доме, стоявшем у самой дороги. В нижнем этаже слабо светились окна. Рядом с домом, в сарае несколько женщин готовили бойцам ужин — рисовую похлебку, вареное мясо.

Они на минуту прервали свою работу, чтобы угостить подошедший отряд. Подкрепившись, бойцы разбрелись, кто куда. Матакуэрвос и Фоса вошли в дом. Нэло, Хаймэ и еще один парень, по имени Вердегай, остались снаружи и присели на скамью. Остальные трое — Хуан Барка, Тино Эль Фео и Антолин — пошли на кухню поухаживать за одной из девушек, которая славилась веселым нравом. Антолин был всех моложе, — юноша с мягким, почти детским лицом. Тино Эль Фео всякий бы узнал по его характерной худой крысиной мордочке; зато Хуан Барка был молодец хоть куда — крепыш с шапкой непокорных кудрявых волос. Молодая стряпуха только на него и обращала внимание.

Вскоре те, что вошли в дом, вернулись вместе с комиссаром Фермином. Отряд снова построился и начал подниматься в гору. Дождь перестал, но воздух был еще влажен, небо покрыто облаками. Наступала ночь.

Комиссар Фермин казался старше всех остальных. Ему можно было дать лет сорок — или немного меньше. На его широком лице уже обозначились морщины; но сам он был крепкий, кряжистый человек с крупными руками и ногами. Араговец родом, крестьянин-бедняк, изголодавшийся по земле, Фермин, когда была провозглашена республика, поверил, что настал час насытить свой голод и осуществить свою исконную мечту о земле. Но все вышло не так, как он думал. Тогда, поняв, что его обманули, он бросил свое поле и поступил в кузницу. Там он ковал лемехи, и там же из мирного крестьянина выковался боевой агитатор. А затем пришла война с фашистами, — и комиссар Фермин уже сотни раз героически рисковал жизнью.

Дорогой Фермин рассказал бойцам, что на некоторых участках фронта неприятель наступает. В одних местах фашисты продвинулись вперед, в других они отброшены. Он говорил о героических подвигах республиканских бойцов, о возмутительных жестокостях, совершаемых фашистами, о незаконном вторжении немцев и итальянцев, о том, что Испания должна принадлежать испанскому народу.

— Товарищи, мы должны сопротивляться! До последней капли крови! Если мы не выдержим, фашисты завладеют нашей страной. Я знаю, есть такие, которые, как только увидят над головой «черных птиц», так сейчас же начинают дрожать, как собачонки, и пускаются бежать.

— Тут нужно хладнокровие — это-то и действует устрашающе на врага. Вот, например, я, — хвастливо заметил Матакуэрвос. — В каких только переделках я не бывал — но, однако, никто не замечал, чтобы у меня нервы играли, как у барышни.

И он рассказал несколько случаев, наверно таких же выдуманных, как и прежние истории о священниках. А затем, поглядев на Нэло из Вильясеки, который все время молчал, он с усмешкой проговорил:

— Ты, Нэло, не бывал со мною в этих делах, но мне почему-то кажется, что ты как раз из тех, что пускаются наутек при виде фашистов.

Ночь была достаточно темна, чтобы скрыть все подробности этой сцены. Не то можно было бы увидеть, как исказилось внезапной судорогой обычно столь спокойное лицо Нэло, как вспыхнули его широко открытые глаза. Он остановился перед Матакуэрвосом; внезапно остановился и весь отряд, словно ожидая взрыва. Но и на этот раз Нэло сдержался.

— Эх, не хочется отвечать тебе, как ты того заслуживаешь, — кулаком в ухо! Вот, когда дойдет до дела, посмотрим, чего стоит твое бахвальство!

Других тоже возмутила выходка Матакуэрвоса. Фоса подбежал к нему и поднес оба своих увесистых кулака к самому его носу.

— Это видал?

Вмешался комиссар; он сказал примирительно, взглянув на Нэло:

— Я не знаю этого товарища, но уверен, что в нашем отряде нет трусов и все мы, как один, готовы защищать Испанию от фашистов.

Больше никто ничего не говорил, и отряд продолжал свой путь.

На позицию добрались уже поздно ночью. Опять пошел мелкий дождик; было очень темно; даже горные массивы едва выделялись во мраке. Может быть, неприятель был далеко, а может быть, близко; может быть, вражеские солдаты спали, а может быть, готовились к бою. Но перестрелки не было слышно, — даже тех отдельных выстрелов, которые похожи на падающие звезды в июльские ночи.

Нэло стоял на часах за бруствером из мешков с землей. Остальные спали под замаскированным навесом, под которым был укрыт пулемет.

Нэло шагал взад и вперед вдоль траншеи за импровизированной стеной, которая разделяла два мира. Однажды республиканские бойцы укрепили на бруствере, со стороны, обращенной к неприятелю, щит с надписью: «Назад, фашистские бандиты! Здесь граница измене!» Щит уже обветшал, некоторые буквы стерлись, но гордый лозунг остался.

Заря разгоралась. Нэло смотрел поверх мешков. Прямо перед ним раскинулись голые, сухие горы; ни капли влаги на них: весь ночной дождь они впитали без остатка. Подальше, там, где залег неприятель, были такие же горы, такие же склоны, необработанные, заброшенные. Бруствер перерезал дорогу на вершине холма. Ниже по склону змеилась и сбегала в долину другая дорожка, узкая, как охотничья тропа.

В этот рассветный час война казалась нереальной, каким-то смутным, спутанным сном. Природа была одна и та же и тут и там, — километром ближе, километром дальше, — и траншея легко могла сойти за канаву около изгороди, а часовой — за сторожа, который следит, чтобы птицы не клевали нежных цветов гороха.

Неожиданно над бруствером послышался свист снаряда; он разорвался позади траншеи. Нэло подумал: «Фашистские свиньи хотят нас разбудить».

Выстрелы все чаще следовали один за другим; снаряды то и дело разрывались неподалеку от бруствера. Хуан Барка первый встал и пошел к пулемету, — это был его пост. Затем поднялись Хаймэ, Вердегай, Тино... Все расположились за бруствером, с винтовками наготове. Спокойно застегивая мундир, комиссар Фермин вышел из-под навеса, где он спал. Улыбаясь, он сказал бойцам: — Фашистская сволочь, видно, хочет сегодня устроить праздник! Посмотрим, что из этого выйдет.

И праздник начался. Перед бруствером разорвался снаряд. Земля взметнулась вверх и упала в самую траншею, где укрывались бойцы, словно и сама хотела спрятаться от нападения. Цель была пристреляна. Беспреданно падали снаряды, нагромождая при разрывах горы земли. Появились и первые жертвы: один ряд мешков был сбит, и маленького Антолина засыпало. Фоса подбежал к нему. Антолин едва шевелился под грудой земли; видна была лишь часть его юношеского лица, залитого кровью. Фоса стал руками разрывать землю, пока не откопал все его тело. Юноша тихо стонал. Фоса наклонился, чтобы перенести его в глубь траншеи и посмотреть, куда он ранен. Новый снаряд повалил другой край бруствера. Еще один проделал брешь в его середине. Третий разорвал и раскидал мешки, разбросал землю и осколки. Еще и еще, без конца...

Бойцы едва успевали в промежутках между взрывами стряхнуть с себя землю и почувствовать, что они еще живы, что сердце еще бьется у них в груди. Они тесно прижимались к земле, распластывались по ней, как ящерицы. Слышно было их тяжелое дыхание. Тихо стонал Антолин, которого снова засыпало землей.

В один из таких перерывов из-под земляной осыпи вдруг вынырнул Матакуэрвос; глаза его были расширены, лицо мертвенно бледно, его сотрясала дрожь. Он ползком выбрался из окопа, направляясь назад, к горному склону, спускавшемуся в ту долину, из которой ночью пришли бойцы. Очевидно, он хотел бежать. Но тут перед ним вырос Нэло и загородил ему дорогу; его горящий взгляд встретился со взглядом Матакуэрвоса.

— Куда ты? — спокойно спросил Нэло.

Матакуэрвос с ужасом смотрел на него, не поднимаясь с земли. Минуту он молчал, сиюсь овладеть собою. Потом с бледной, вымученной улыбкой проговорил:

— Иду вниз... Пусти-ка. У меня, знаешь, — ну, как это сказать — одним словом, живот схватило.

Он уж двинулся было дальше, но перед ним, как непреодолимое препятствие, стоял Нэло, странный и незнакомый в своей решимости; Нэло стоял перед ним как некая сила, превосходящая его силу, — тот самый Нэло, который казался всегда таким слабым и робким и по сравнению с которым сам он чувствовал себя могущественным великаном. Нэло выхватил револьвер.

— Назад! — решительно вскричал он. — Эти штучки ты брось!

Комиссар, стоявший недалеко, понял в чем дело и крикнул громко, так, чтобы все слышали:

— Все по местам! Неужели мы дадим фашистским бандитам продвигаться вперед?

Матакуэрвос повернулся и, не говоря ни слова, пополз на коленях к брустверу. Без сомнения, первый момент паники у него уже прошел, и теперь он взял себя в руки, как подобает бойцу.

Артиллерийская подготовка еще не кончилась. Снова и снова со свистом проносились снаряды и рвались возле уже почти разрушенного бруствера. Только нижний ряд мешков уцелел, да и то не везде. Бруствер развалился, разрушился; он был уже бесполезен для прячущихся за ним бойцов. Стоя на коленях в траншее, они по грудь высовывались из нее — почти половина тела оставалась незащищенной и представляла отличную мишень для неприятельских пуль. Приходилось сидеть, скорчившись, на дне окопа. Бруствера, собственно говоря, уже не было. Оставалась только земля, — холодная, липнувшая к телу.

Матакуэрвос и Фоса сидели вместе, рядом с Хуаном Барка, стоявшим у пулемета. Тут же был комиссар. Немного дальше —

Нэло. Правее — Хаймэ и Вердегай, а возле них лежал Антолин, которому Тино пытался перевязать израненное лицо.

Новый снаряд упал в двух шагах от траншеи. Он разорвался с сухим и жестким дребезжающим звуком. На этот раз снаряд не унес землю из мешков и не рассеял ее по воздуху. Он унес две жизни. И он рассеял их по воздуху великой антифашистской Испании, насыщенному прахом смерти.

Матакуэрвос вдруг почувствовал, что куда-то летит: его подняло и ударило о землю. Последнее, что он ощутил, и был этот полет; как он упал, он уже не почувствовал. Последнее, что он видел, — как-то смутно, — были огромные руки его приятеля Фоса, которые странно взметнулись вверх, как крылья раненого голубя. Оба были убиты одним снарядом, оба были засыпаны поднявшимся фонтаном земли.

Вскоре был убит Хуан Барка, и пулемет умолк. Комиссар стал на место пулеметчика. В это время новый снаряд ударил в правый край окопа, туда, где были Хаймэ и Вердегай. Теперь в живых осталось только трое бойцов, только эти трое оправдывали надпись на разрушенном бруствере: «Назад, фашистские бандиты! Здесь граница измене!» Ослабей они — и измена поползла бы дальше в долину по нашим испанским дорогам, по землям свободной, героической Испании.

Нэло и комиссар встретились на середине траншеи. Они молча поглядели друг на друга, без слов понимая, что положение стало критическим.

Нэло совсем просто сказал:

— Думается мне, комиссар, что этот клочок земли мы должны так защищать, как защищали бы своих родных детей.

Комиссар обнял его и поцеловал.

— Молодец, парень, — сказал он. — Мы не пропустим фашистов! Будем сопротивляться до последнего! Кто уцелеет, дерись не на живот, а на смерть! Слышишь, Тино? Фашистам не пройти!

Артиллерийский обстрел кончился. Пахло порохом и только что пролитой кровью. Черный дым застилал прозрачную ясность дня. Испуганные птицы улетели. Кругом валялись сбитые с деревьев ветки олеандра.

Трое отважных бойцов готовились защищать позицию. Комиссар, как умел, зарядил пулемет и пустил несколько пробных очередей. Он с удовлетворением отметил, что пулемет работает исправно, Нэло и Тино схватили винтовки. Казалось несомненным, что после артиллерийской подготовки фашисты двинутся вперед по открытому склону и спустятся в долину.

Во самом деле, вскоре комиссар Фермин вскричал:

— Идут! Видите?

Фашисты спокойно выходили из своих траншей, опустив ружья,

не ища прикрытия. Как видно, они не ждали отпора. Когда они приблизились на расстояние выстрела, трое бойцов открыли огонь. Упали первые фашисты, — кто они были? немцы, или итальянцы, или марокканцы? — во всяком случае те, к кому была обращена, надпись на щите: «Назад!» И вот неприятельские пулеметы стали обстреливать бруствер. Пули стрекотали со всех сторон, точно невидимые кузнечики. Трое республиканских бойцов, уже не защищенные разрушенным бруствером, не могли шевельнуться под этим смертоносным дождем.

Тогда молча они оттащили трупы на край траншеи. Матакуэровоса они положили первым; затем Хуана Барка; рядом — Фоса, чьи огромные руки упали на закрытые глаза Матакуэровоса. Еще дальше Вердегая, Хаймэ и Антолина, — он был уже мертв. Так они восстановили бруствер, заткнув щели между мешками. Комиссар энергично воскликнул:

— Сопротивляться до конца!

И они сопротивлялись. Неприятельские солдаты пробовали продвигаться, прижимаясь к земле, словно жабы. Но тщетно: они падали все чаще и чаще... Их тела скатывались вниз по склону, пока не застревали между стволами слив. Яростный огонь не прекращался. Не слабели трое храбрецов — героический редут свободы против мирового фашизма. Они дрались так, словно этот бруствер из трупов был плотиной, защищавшей весь мир от черного фашистского смерча.

Расцветало утро, проходили часы, и солнце уже сверкало в небе, а эти трое продолжали стрелять. Они точно горели. Их винтовки накалились и требовали смены. Бойцы были все в поту. Они дрались с отчаянием, с ожесточением. И враг не мог пройти!

Тино стоял поодаль от других. В минуту сравнительного затишья он ползком добрался к Нэло — ползком, потому что в этом месте в бруствере оставалась брешь, и через нее то и дело залетали пули. Указывая рукой на брешь, он сказал на ухо Нэло:

— Если меня убьют, положи меня сюда...

Он сказал это так просто, так скромно, что Нэло ответил ему с улыбкой:

— Понятно. Кого из нас первого убьют, тот и будет сюда положен. Если убьют тебя, так это будешь ты, если меня — так это буду я.

И первым упал как раз Тино, через какую-нибудь минуту после этого разговора. Пуля попала ему в лоб, и он рухнул навзничь, не издав ни звука. Нэло исполнил его просьбу и заложил брешь его телом. Теперь их осталось лишь двое, но борьба не прекратилась, и могущественная сила противника не могла сломить это упорное сопротивление, эту волю, которая не сдавалась смерти.

Так продолжалось до тех пор, пока, наконец, поздним утром

не прибыли свежие части и не сменили последних бойцов героического отряда.

Под теплым солнцем, посреди нежного ликования весны Нэло и комиссар стали спускаться по дороге. Они шли грязные, оборванные, почти без сил, едва держась на ногах, опустошенные нервным напряжением, — два бледных, немых выходца из мира смерти, который только что покинули.

Когда они немного пришли в себя, — точно проснулись среди другой природы, в другой жизни, — оба одновременно остановились посреди дороги, и почти инстинктивно бросились друг другу в объятия. Они едва не плакали от волнения, ощупывали друг друга, словно хотели удостовериться, что они в самом деле живы. Но когда они заговорили, для выражения всего, что их волновало, они нашли только самые обыденные слова. Комиссар с улыбкой сказал:

— Мне кажется, товарищ, что мы исполнили свой долг, как честные испанцы-антифашисты.

А Нэло, также улыбаясь, ответил:

— Мы не сделали ничего особенного. Сопrotивлялись, вот и все.

И снова глаза их встретились, как уже не раз за последние сутки. Но теперь они смотрели и чувствовали по-иному. Теперь они были не два бойца, готовящиеся к героической смерти, а два человека, — два сердца, которые вернулись к покою и мирному счастью жизни.

И вдруг Нэло заговорил торопливо и смущенно, как человек, который в первый раз открывает другому свою душу:

— Знаешь, почему я готов был сопротивляться до самой смерти? Глупо рассказывать тебе старые истории... Но дело в том, что никогда еще мне так ярко не вспоминались мои близкие, как сегодня утром, когда мы защищали эту позицию... — Он пристально поглядел куда-то вдаль и прибавил: — Мне казалось, что я мщу фашистам за то, что они сделали с ними; мне казалось, что моей винтовкой я защищаю всех матерей и всех детей, которые еще свободны.

Комиссар понял, что у этого человека лежит какая-то огромная тяжесть на душе. Он постарался вызвать его на разговор, и почти всю дорогу Нэло рассказывал ему о том, что пережил.

Он был шорником в арагонском селе. Нэло уже давно был антифашистом, и, когда разразилась война, он записался в народную милицию... В первые же дни войны его поселок жестоко пострадал, и это случилось по вине одного из отрядов милиции, который по слабодушию, по недисциплинированности оставил позицию, которую должен был защищать. Сколько народу фашисты расстреляли,

избили, бросили в тюрьму!.. Прежде всего они схватили жену Нэло, и за то, что она не выдала, где муж, расстреляли ее ночью, за селом, на краю оврага. Потом принялись за сына, десятилетнего мальчика. Его жестоко пытали, требуя, чтобы он сказал, где отец. Избили всего в кровь, колотили прикладом по голове, пока он не умер...

Нэло так закончил свой рассказ:

— И не только мою семью они замучили. Из-за того, что была оставлена эта позиция, фашистские бандиты прорвались дальше, захватили другие поселки, и всюду, где бы ни появлялись, они делали одно и то же: словно волки, рвали и уничтожали всех и все, что попадалось им под руку.

Эти последние слова заставили комиссара оглянуться по сторонам, и то, что он увидел, невольно связалось в его сознании с тем, что он только что выслушал. День был чудесный. В безоблачном небе словно дрожал полуденный свет. Весна стояла во всем блеске, сверкающая зеленью, счастливая. Доносился скрип колотцев, ляг ножниц, которыми садоводы подстригали ветки слив. Кудахтали куры. Женщины с корзинами шли из деревни в деревню. Дети играли и бегали во дворах. Начинали распускаться орешины, миндаль стоял в белых цветах, словно облитый молоком. В общем это была обыкновенная жизнь, в которую еще не проникла война.

Комиссар протянул руку, указывая Нэло на окружающее:

— Посмотри, разве все это не прекрасно? Да, это Испания, — наша родина, которую мы защищаем и которой фашистская сволочь хочет завладеть!

Он положил Нэло на плечо свою крепкую, загорелую руку и продолжал:

— Никогда еще Испания не казалась мне такой прекрасной, как сейчас, когда я защищаю ее землю! Никогда еще я не чувствовал себя таким патриотом, как сейчас, когда защищаю мою страну от захватчиков!

Оба героя, измученные, присели в негустой тени сливы. Скоро они заснули. Было тепло. Над ними распевали птицы, порхая с ветки на ветку, и на ближних огородах первые весенние бабочки играли в прятки, словно дети.

ОТВАЖНЫЕ ПАРТИЗАНЫ

Однажды у меня с Хэнаро Торренте разгорелся жаркий спор. У испанцев, в особенности у горняков, такие споры частенько кончаются выстрелами. Правда, мы до этого не дошли, но все-таки, не будь одного обстоятельства, мы, наверно, возненавидели бы друг друга на всю жизнь; Хэнаро и его друзья стали бы моими злейшими врагами и, наоборот, я и мои товарищи — его постоянными про-

тивниками. В наших испанских поселках нередко образуются такие свирепые содружества, особенно среди шахтеров, которые ведут собачью жизнь.

Хэнаро был старше меня — высокий парень, мрачный, некрасивый; щеку его перерезал шрам, — след какой-то ссоры. Он был пьяница, бабник, забияка, лентяй, любитель позлословить, и я презирал его от души. О его приятелях я был не лучшего мнения.

Вот почему я очень удивился, когда однажды утром, возвращаясь домой из ночной смены, я увидел его и двух его товарищей, Пако Эль-Бастос и Бернабэ, у дверей моего дома. Лицо Хэнаро не предвещало ничего хорошего, и я подумал про себя: «Эти хулиганы пришли убить меня». Неожиданно он сказал:

— Послушай, Луис, во всей Испании фашисты подняли мятеж. С минуты на минуту сюда может явиться гражданская гвардия. Тебе не сдобровать. Беги подальше от нашего рабочего поселка. Спасайся!

Я остолбенел, точно меня ударили по макушке. Не могу сказать, что меня больше взволновало: известие ли о мятеже, или неожиданная встреча с моими заядлыми врагами. Оправившись от удивления, я спросил:

— А вы?

— Мы бежим, — ответил Хэнаро.

— Подождите минутку.

Один из них, Пако, не хотел ждать. Он считал, что медлить нельзя ни минуты, не то мы рискуем попасться, как кролики в капкан. Но Хэнаро принял предложение, и мы все вошли в мою комнатушку, где, разумеется, нехватало стульев, чтобы усадить гостей. Они рассказали мне, что произошло, — я ведь только что поднялся из шахты, где работал всю ночь, и ничего не знал. Положение, в самом деле, было серьезное. Я предложил пойти в профсоюз и отдать себя в распоряжение комитета. Может быть, еще можно бороться? Они ответили, что уже поздно: помещение профсоюза занято гражданской гвардией, комитет арестован, многие товарищи убиты фашистами. За несколько часов все было разрушено: мирная жизнь, профсоюзы, организации, работа, привычки, иллюзии. Да, положение было серьезное.

— У нас один выход : бежать, — сказал Пако.

— И сейчас же! — нетерпеливо подчеркнул Бернабэ. — Не то нас изловят, как изловили многих других.

И они стали называть мне имена погибших. Среди них были мои лучшие друзья.

У меня брызнули слезы, — от бешенства и от сознания своего бессилия. Изверги! Бандиты! Мне было восемнадцать лет. Я был не очень крепким; тяжелая работа в шахте порядком истощила меня. Но кровь кипела у меня в жилах, мне хотелось одному пойти

против всех фашистов, вместе взятых, и умереть в борьбе, выпустив в них последнюю пулю.

— Бежим, раз нет другого выхода,— наконец, сказал я. — Но неужели мы оставим шахты в полной исправности, чтобы эти бандиты продолжали добывать руду?

Хэнаро помолчал, задумавшись. Другие опять стали торопить нас, уверяя, что никакой саботаж сейчас невозможен. Я настаивал:

— Мы ведь не можем бежать, прежде чем наступит ночь. А до тех пор можно кое-что сделать.

Хэнаро согласился со мной. Мне понравилась его искренняя готовность драться, и я спрашивал себя, почему я раньше был о нем такого плохого мнения. Сейчас он казался мне совсем другим. Или я все это время ошибался, или он изменился за несколько часов.

Остальные твердили свое, и мы не стали их уговаривать. Условились, что мы, все четверо, встретимся ночью на кирпичном заводе Зайно в окрестностях поселка; там легко спрятаться, и оттуда мы можем двинуться дальше, в каком угодно направлении.

Они ушли; мы с Хэнаро остались одни.

— У тебя есть пистолет? — спросил он меня.

— Я недавно отдал его моему приятелю Кастро.

— Возьми, — он вынул из сумки новенький револьвер и несколько обойм и дал мне.

Если горняк дарит револьвер своему врагу, то уж это верный знак, что вражда окончена.

— Спасибо, — сказал я, пожимая ему руку.

Затем мы вышли, намереваясь хорошенько насолить фашистским мерзавцам. На улицах было меньше народу, чем обычно. Многие двери были заперты. Из окон высывались головы, подозрительно прислушиваясь к шагам. Навстречу нам изредка попадались знакомые шахтеры; они не останавливались, а только на ходу, почти не глядя на нас, шопотом спрашивали:

— Куда идете? Бегите, вас ищут, вас расстреляют!

Из осторожности мы решили разойтись и действовать порознь. Я пошел на ту шахту, где всегда работал. Там был полный развал. Одни рабочие бежали, другие сидели по домам; а кто пришел на работу, не мог найти свою смену. Все слонялись из угла в угол, возбужденные, сбитые с толку. Вопреки моим опасениям, гражданская гвардия еще не завладела шахтами, очевидно, занятая более срочными делами. Тем лучше — мне легче будет проделать ту работу, за которую, — на этот раз безвозмездно — я взялся в этот день. Через несколько часов это было бы уже невозможно.

Разными хитростями и уловками мне удалось достать некоторое количество динамита и заложить его в подходящих местах: у входов в шахты, в галлереях, там, где происходит промывка руды,

в машино-ремонтной мастерской... Я сделал все, что мог. До самого вечера я скрывался на краю поселка в заброшенном погребе. В течение всего дня, в разное время и с разных сторон, до меня доносились взрывы. Их было столько, что я стал подозревать, что не одни мы с Хэнаро приложили руку к этому делу.

Вечером я со всякими предосторожностями, окольными путями, вернулся домой. Мне бы не следовало так рисковать, но дело в том, что дочь хозяйки была моей невестой, и я не мог уйти, не попрощавшись с ней. Мы стояли, обнявшись, моя невеста горько плакала, а я давал клятвы вернуться к ней тотчас после победы над фашистами, как вдруг раздался стук в дверь. Мы вздрогнули. Подумали, что это пришли за мной. Я быстро выскочил в окно, выходящее во двор, и спрятался в сарае. В квартиру, в самом деле, ворвались гражданские гвардейцы. Они перевернули весь дом, с бранью и угрозами накинулись на мою невесту и ее мать, допытываясь, где я; однако те не выдали моего воробьиного убежища в сложенных дровах, в сарае. Когда, через несколько минут, гвардейцы ушли, пригрозив моей невесте еще разделаться с ней, я перескочил через дворовую ограду, пробежал по темным улочкам и вышел за пределы поселка, — разыскивать на кирпичном заводе моих товарищей.

Хэнаро и двое его приятелей ждали меня. Мы рассказали друг другу обо всем, что произошло за день. Теперь надо было решать, куда нам идти. Мы, четверо беглецов, спасающихся из темного мира фашистов, хотели найти светлую и свободную дорогу, которая вела бы нас в республиканскую Испанию. Но где ее границы? Где кончается Испания республиканская и начинается Испания изменников? Где нас ждет опасность, а где — спасение? Карта Испании представляла собой настоящий лабиринт; она вся была словно изрезана на кусочки и походила на одеяло из разноцветных лоскутков.

Мы шли ночью, а днем где-нибудь прятались. Так пробирались мы много дней подряд, избегая людей и поселков. Мы несли с собой тяжелый груз горя, злобы и ненависти к преступникам-фашистам, но мы не теряли бодрости духа. Кроме того, мы, шахтеры, привыкшие к тяжелой работе и полной темноте, теперь всем своим существом наслаждались природой, нежными ее красками и ароматами.

В пути у нас было несколько приключений, в том числе стычка с фашистским дозором, который охранял дорожный перекресток. Нам удалось перебить солдат и захватить винтовки. Эта маленькая победа нас приободрила, но мы не намеревались сейчас заниматься партизанской борьбой: нам хотелось как можно скорее попасть на территорию республиканской Испании. Так достигли мы склонов Сьерры Морена. Однажды я предложил товарищам, — не слишком, впрочем, надеясь, что мое предложение будет принято:

— Мы можем пойти в Фуэнкальенте, в провинции Сьюдад-Реаль. Это мой родной поселок, там живет моя мать.

Товарищи согласились, хотя и не были уверены, что туда будет легко пробраться. Вскоре затем мы сели отдохнуть в тени скал. На меня нахлынули воспоминания, и я стал раздумывать о своей жизни. Не то, чтобы она была очень сложной и интересной — всю ее можно рассказать за две минуты. Я уже сказал, что родом я из Фуэнкальенте, местечка на границе Кастилии и Андалусии, где в старину проходила королевская дорога. Там, в поселке, живет моя мать. Она стирает белье в старинной водолечебнице, построенной возле горячих источников. А своего отца я не знаю. Кажется, он жив, но я не помню, чтобы когда-нибудь его видел. Мать только изредка упоминала о нем, и тогда она говорила, — скорее добродушно, чем с огорчением, — что он был необыкновенный человек, до такой степени гордый и независимый, что никто не мог его смирить, ни дома, ни в поселке. После я узнал, что он промышлял охотой, и у него то и дело выходили столкновения с гражданской гвардией и судебными властями; в конце концов, он покинул поселок, и никто не знал, куда он ушел и где поселился. Мы с матерью жили очень бедно, и когда мне минуло шестнадцать лет, я решил оставить родные места и отправиться куда-нибудь на заработки. Нужда погнала меня в шахты... Вот и все. Как видите, рассказывать недолго.

Однажды вечером, когда мы, как всегда, собирались выступить в поход, из кустарника внезапно показались вооруженные люди. Как видно, там была засада. Мы насчитали четверых. Но за кустами, наверно, скрывались еще другие. Они навели на нас винтовки и стали осторожно приближаться к нам.

Какая обида так глупо попасться! Мы были в их руках и не могли даже защищаться!

— Кто вы такие? — резко спросил нас тот, кто шел впереди.

Кто мы такие?.. А кто такие они? Знай мы это, все было бы очень просто. Если фашисты, мы сказали бы, что мы тоже фашисты; если республиканцы, мы признались бы, что и мы республиканцы. Но кто откроется первым? Мы колебались, не зная, как заговорить.

Но, очевидно, мы, бедные шахтеры, не были похожи на фашистов, потому что, в конце концов, наши противники опустили винтовки, а тот, кто как будто был командиром, решил открыть карты.

— Если вы республиканцы, так очень хорошо, что мы повстречались. Ну, а если фашисты, то тут вам, изменникам, и крышка!.. Мы были спасены!

— Мы шахтеры из Пеньярой, — сказал я. — Бежим от фашистов. — И мы показали им наши профсоюзные книжки, которые хранили под подкладкой беретов.

Командир бросился нас обнимать.

— Товарищи!

Мы очень обрадовались встрече. До сих пор мы все время были настороже, так как не знали, осталась ли верной республике та область, по которой мы шли; теперь у нас сразу стало легче на сердце. Простодушно, но с гордостью командир сказал нам:

— Мы — партизаны!

Кто не был романтиком в восемнадцать лет? Этот человек сказал: «Мы—партизаны!» — и я, пораженный и восхищенный, готов был считать их не простыми смертными, а героями, которые ежеминутно совершают чудеса храбрости. Я глядел на них во все глаза, в особенности на командира, который с самого начала показался мне необыкновенным существом. Это был человек лет сорока, но годы не сказывались на нем, как не сказываются они на горном утесе. Он был среднего роста, худой и крепко сбитый, пожалуй, по-деревенски грубоватый, очень смуглый. В его лице было что-то напоминающее хищную птицу; живые, круглые глаза, тонко изогнутые, как у араба, ноздри, тонкие губы, небольшие, но выдающиеся скулы. Весь его облик гармонировал с окружающим пейзажем. Он был так же суров, как сурова сама Сьерра Морена. Видно было, что он ловок, как серна, и силен, как кабан. Я невольно залюбовался этим человеком. Мне было бы жаль расстаться с ним. Поэтому я обрадовался, когда он сказал:

— Если хотите остаться с нами, оставайтесь. Нам нужны смелые люди, и вы, шахтеры, наверное, нам пригодитесь. Хотим намять бока этим бандитам, которые задумали овладеть Испанией!

Я, как самый младший, не осмеливался решать этот вопрос. Я только смотрел на Хэнро и он, должно быть, прочитал в моих глазах страстное желание сказать «да!»

— Если вы не против, — промолвил он, обращаясь к нам, — то хорошо, мы остаемся.

Его приятели кивнули в знак согласия, а я подбросил вверх берет и радостно закричал:

— Ура! Да здравствуют партизаны!

Им понравился мой энтузиазм. Командир подошел и обнял меня.

— Ты еще очень молод, мальчик, — сказал он. — Не страшно тебе? Подумай, ведь мы каждую минуту ставим жизнь на карту!

— Я молод, но не трус. Вы это скоро увидите! — сказал я с некоторой кичливостью, точно ребенок, который, желая показаться выше ростом, приподнимается на цыпочки.

Затем командир познакомил нас со своими ребятами, теми, что были с ним, и теми, которые дожидались за деревьями. Почти все они были крестьяне из Кордовы или Эстремадуры, все, как и мы, бежали из дому, были оторваны от семьи, обречены на постоянные скитания, все испытали преследования и лишения. В общем,

это были люди, готовые на все, словно лесные звери, у которых охотник отнял берлогу и детенышей.

Через несколько дней мы уже представляли одну дружную компанию. Бывали, конечно, и споры, и грубые шутки, один правил другому больше, другой меньше, но командир — его звали Агилон — умел поддерживать дисциплину и приводить всех к согласию: его очень уважали в отряде. А я для них всех был ребенком, и так они со мной и обращались. Это мне не очень-то нравилось, и, пожалуй, именно поэтому я в то время особенно сдружился с Хэнаро, моим прежним врагом. С ним я чувствовал себя на равной ноге, взрослым мужчиной. Мы искренне уважали друг друга, а наши старые и уже забытые обиды только укрепляли нашу дружбу. Но я, и правда, был немножко ребенком и потому инстинктивно искал защиты и отеческой ласки у Агилона, нашего командира. Как всякого ребенка, меня привлекала сила. Агилона же, как всякого сильного человека, привлекало все детское, беспомощное. Вот и вышло, что я сделался его верным псом; я всюду ходил за ним, как тень. Он чувствовал потребность кого-нибудь поддерживать; я, хоть и всячески это скрывал, чувствовал потребность в чьей-нибудь поддержке.

Скоро начались и партизанские действия. Агилон отлично знал местность и обладал великолепным чутьем партизанской борьбы. С ним нельзя было попасть впросак. Почти звериный инстинкт сочетался у него с логической мыслью, с военной дисциплиной. Много раз мне приходило в голову, что это — лисица, обладающая силой льва, дерзостью тигра и умом человека.

Наш отряд предпринял нападение на хутор в районе, занятом мятежниками. Обошлось без единого выстрела. Вместе с Агилоном и его помощником Брозасом я вошел в хуторскую кухню, где за молочной похлебкой сидела вся семья хуторян и несколько пастухов. Мое романтическое воображение представляло мне эту сцену совсем иначе, чем она разыгралась. Я думал, что мне придется сильно постучать в дверь, грозно крикнуть: «Откройте прославленному партизану Агилону!», войти в дом с пистолетом в руке, воскликнуть с мрачным видом: «Стой! Все на стол, что у вас есть! Этого требует республика!», стрелять, если будет сопротивление; а потом уходить, палая на все стороны, чтобы напугать народ.

Но вышло совсем не так. Агилон негромко постучал в дверь, и когда изнутри спросили: «Кто там?», ответил самым обыденным голосом: «Открой, Мария, это я». Дверь растворилась, мы вошли. Пастухи и хуторяне знали Агилона и не очень обрадовались его приходу. Но ему удалось рассеять это недружелюбное настроение. Скоро все в кухне сидели и разговаривали, точно на вечеринке.

Пастухам жилось не сладко, фашисты-хозяева жестоко эксплуатировали их, поэтому мы без труда нашли общий с ними язык;

они напоили нас парным молоком и рассказали много интересного, что пригодилось нам для наших дальнейших планов.

Агилон не произносил речей, но с такой простотой и ясностью говорил обо всем, что происходило в Испании по милости фашистов, что и я слушал, как зачарованный, а пастухов явно убедили его доводы. В заключение он предложил отдать ему овец, которые были на хуторе. «Не для нас, — подчеркнул он, — но чтобы отнять их у фашистов и передать республиканской Испании». Пастухи готовы были согласиться, но боялись, что их будут преследовать, если они отдадут овец даром; они боялись, что хозяева их уволят. Поладили на том, что Агилон оставит им часть стада, часть же мы возьмем с собой. А по поводу преследований он сказал: «Если что с вами случится, отыщите в горах Агилона, и мы сведем счеты с вашими фашистскими хозяевами».

Мы расстались чуть не со слезами. Пастухи охотно и сами бы ушли в отряд, но не так-то легко сразу стряхнуть привычку к покорности. Стада мы перегнали на территорию, оставшуюся верной республике. Заботу о них взяли на себя Пако эль-Бастос, который вообще охотно брался за всякие второстепенные — и безопасные — дела, и еще один партизан, по имени Пандиро, прежде бывший пастухом. Пако мы так больше и не видали. Очевидно, попав в вольные края, он уже не захотел возвращаться в клетку. Для Хэнаро и для меня, его товарищей, это был неожиданный удар. Что касается Бернаба, четвертого из нашей компании, то он вел себя молодцом и всегда держался с достоинством.

Таких дел, как этот набег на хутор, мы совершили великое множество. По образному выражению Агилона, это были «лисьи проделки».

— Сегодня устроим лисью проделку, — говаривал он. Но о таких пустяках не стоит рассказывать. А вот когда Агилон говорил: «Сегодня ночью зададим им перцу!», это означало, что затевается что-то посерьезней.

Все мы тотчас окружали его, — я, как всегда, был рядом с ним, а слева от меня Хэнаро, — и он подробно объяснял нам, что каждый из нас должен делать во время нападения. Он говорил так живо и образно, что мы словно своими глазами видели то, что должно произойти. И любопытно, что обычно все именно так и происходило — он умел предвидеть все до последней мелочи.

— В одиннадцать часов десять минут на этом участке проходит товарный поезд. Багажный вагон идет в конце поезда; при вагоне караул гражданской гвардии. Ты, Брозас, со своими ребятами должен залечь напротив этого вагона и напасть на гвардейцев. Обыкновенно в поезде бывает двадцать-двадцать пять вагонов. Путь в этом месте идет под уклон и, когда поезд сойдет с рельсов, вагоны будут валезать друг на друга, стало быть, мы должны находиться

чуть-чуть кпереди от его середины. Разбирать рельсы пусть идет поменьше народу, чтобы не привлекать внимания — ты пойдешь, ты и ты. Довольно трех парней, которые знают, как это делается. А мы, остальные, будем сторожить путь от одной железнодорожной будки до другой. Появится поезд, зафыркает: фу-фу-фу! Искры будут лететь из трубы. Вдруг—стоп! Паровоз сойдет с рельсов, вагоны полезут один на другой, затрещат выстрелы, — это мы бросимся на гвардейцев — груз посыплется во все стороны... А там пусть фашисты подавятся всем этим железным ломом!

Слушая его мы словно воочию видели всю сцену. Я не отрывал глаз от Агилона, который говорил не только голосом, но и жестами. Казалось, слушаешь какой-то увлекательный рассказ о приключениях. Но его рассказы отнюдь не были фантазией. На следующую ночь произошло все то, о чем он нам рассказывал. Мы пустили под откос поезд, группа Брозаса перебила гражданских гвардейцев, мы разрушили несколько телеграфных столбов; большая часть груза пришла в негодность во время крушения, а кое-что мы взяли себе... Все разыгралось как по нотам. Единственно, что не было предусмотрено, это стычка с фашистским отрядом, ехавшим на паровозе, стычка, в которой участвовал Агилон с тремя товарищами и я; но мы живо разделились с фашистами. Агилон дрался с ними врукопашную — кинжалом.

К вечеру мы были в горах и вне опасности. Я выкупался в студеном водопаде, потом выспался наславу. Когда я проснулся, Агилон сказал:

— Мальчик, ты вчера неплохо выполнил то, что тебе было поручено; из тебя выйдет толк!

Я ответил, очень довольный:

— Я ваш ученик — авось не посрамлю учителя!

Потом мы еще не раз пускали поезд под откос. А однажды взорвали мост при проходе поезда; этот взрыв был слышен кругом на пятьдесят километров. В другой раз мы взорвали воинский поезд. Незадолго перед тем мы неожиданно напали на фашистский патруль и таким манером раздобыли фашистские мундиры. Переодевшись в них, мы и совершили нападение на поезд. Это уж было настоящее сражение, и несколько партизан было ранено, но мы одержали полную победу. Мы даже захватили пулемет и столько винтовок, что хватило на всех.

Моя любовь к Агилону все росла; он тоже любил меня. Иногда, говоря с Хэнаро, я старался и его зажечь моим восторгом.

— Какой необыкновенный человек! Можно подумать, что он всю жизнь был партизаном.

Но кто же был этот человек? Он мало говорил о своей жизни. Мы, правда, и все редко говорили о прошлом — слишком напряжен-

ным и острым было настоящее. А об Агилоне мы знали только то, что он однажды сказал нам:

— Вы думаете, что я борюсь за что-нибудь свое? Ну, так знайте: у меня ничего нет — ни дома, ни семьи, ни даже кровати, на которой я мог бы спокойно умереть. У меня-то ничего нет, но вся Испания — моя. Не могу вынести мысли, что фашисты завладели моей родиной и продают ее иностранцам, а нас обращают в рабов!.. Я люблю свободу, как птица. Всякий, кто сулит мне свободу, — мой друг, а кто несет мне цепи и решетку, тот мой враг. Поэтому я ненавижу фашистов и их прихвостней — гражданскую гвардию.

Иногда на ночлеге Агилон, к величайшей моей радости, укладывался рядом со мной. Ночь — хорошее время для откровенных бесед. Раз он спросил меня:

— Ты откуда родом, мой мальчик?

— Я из Фуэнкальенте, в провинции Сьюдад-Реаль, на границе Андалусии.

— Из Фуэнкальенте?

— Да, оттуда. Моя мать — прачка в тамошней водолечебнице. Ее зовут Кармен.

Он посмотрел на меня странным, долгим взглядом. Брови у него поднялись, в лице что-то задрожало. Я прибавил:

— Вы знаете наш поселок?

Он помолчал, все глядя на меня. Потом отвернул лицо и уклончиво ответил:

— Да, я хорошо знаю всю эту округу.

— Так вот, я оттуда!

Мы оба умолкли. Как я был счастлив оттого, что он так ласково говорит со мной, покровительствует мне, выделяет из всех! Близость к нему я ценил на вес золота. Ему не спалось, он молча смотрел на меня. Мне все казалось, что он еще что-то скажет мне, но он так ничего и не сказал. Наконец он закрыл глаза; тогда и я сладко уснул рядом с ним на жесткой земле.

Партизанская борьба с каждым днем становилась все опаснее. Не только потому, что мы нападали на все более важные объекты, но и потому, что фашистское правительство распорядилось беспощадно преследовать партизан. Много раз нам приходилось выдерживать настоящие бои с гражданской гвардией, а затем быстро передвигаться на новое место, чтобы сбить с толку противника. Все наши сражались храбро, но мы — Агилон, Хэнаро, Брозас и я — обычно выделялись среди остальных. Хэнаро стал, как и Брозас, одним из помощников Агилона. Он был отважный парень, на вид немного грубоватый и неуклюжий; но, если с ним разговаривать, то нетрудно было разглядеть, сколько в нем простодушия и доброты. Я от всего сердца полюбил его, и не раз в откровенной беседе мы с ним дивились, вспоминая наши прежние распри.

Что касается Агилона, то его отношение ко мне стало прямо трогательным. Даже в бою, в самом пылу схватки, он не забывал обо мне и всегда старался защитить меня.

— Держись позади меня, — говорил он мне. — Если нас настигнет пуля, пусть уж она попадет в меня, а не в тебя.

Но я поступал как раз наоборот: становился впереди и старался загородить его от пули. Отдать за него жизнь было бы для меня радостью.

Однажды, действуя ручными гранатами и динамитом, мы захватили целый поселок. Это нам недешево досталось, но зато и фашисты потерпели большой урон. Два дня в поселке держалась наша народная антифашистская власть. Потом мы узнали, что подходят новые силы противника; пришлось отступить. И вот тут-то в нас начали стрелять с колокольни. Ранили Хэнаро. Он упал. Я только один был с ним, другие нас не видели. Задерживаться было опасно, но как я мог оставить своего друга лежать на земле, раненого, истекающего кровью, чтобы затем его добились фашисты? Наскоро перевязав ему платком рану, я подхватил его на руки и понес.

— Оставь меня здесь, оставь! Спасайся сам! — говорил он.

Но я еще больше напрягал силы и кое-как, наконец, добрался до окраины поселка. Тут я споткнулся и уронил его, — нехватило сил; не шутка нести такое тяжелое тело. Вдруг меня осенила счастливая мысль. С пистолетом в руке я бросился в крестьянский дом и потребовал, чтобы хозяин дал мне лошадь. Он вывел рослую кобылу. Я взгромоздил на нее раненого, и мы пустились галопом, под градом пуль, которые фашисты слали нам вдогонку. Вскоре мы повстречали наших товарищей.

Потом, когда мы были уже вне опасности, в горах, все поздравляли меня и хвалили мой поступок. Но что же особенного в том, чтобы поступать с другом, как с другом? Больше всего нас тогда заботила рана Хэнаро, которая была в очень плохом состоянии. Агилон решил во что бы то ни стало добыть врача, хотя бы пришлось идти за ним в самый Бургос. Мы узнали, что в поселке, захваченном мятежниками, лигах¹ вдесяти от нас, есть хороший врач. Агилон отправился туда и взял меня с собой; мы поехали верхом, переодевшись хуторянами. Угрожая пистолетами, мы заставили бедного доктора поехать с нами. Сперва он был сильно напуган, но затем успокоился, разговорился с нами, извлек у Хэнаро пулю и даже отказался от платы за свой труд. Когда он возвращался к себе в поселок, мы проводили его до половины пути. После этого Хэнаро стал быстро поправляться и скоро совсем окреп.

Наши боевые дела продолжались. Мы разрушили электрическую станцию и мукомольный завод; взорвали несколько пороховых

¹ Лига — 5,5 километра.

складов. Самым крупным нашим делом был взрыв моста в то время, когда по нему проходили, направляясь в Бадахос, колонны марокканцев и пехота. Здесь, у реки, мы несколько дней сражались с фашистскими войсками. В конце концов, пришлось отступить; мы не смогли помешать им форсировать реку. Нас было мало, их много. Мы были только партизаны, они же — регулярные, вооруженные по всем правилам воинские части.

Но наши непрерывные успехи раздражали фашистов, и они, очевидно, решили окружить нас и окончательно разделаться с нами. Для нас началось трудное время. Мы яростно отбивались, искусно маневрировали, но превосходные силы противника теснили нас со всех сторон. Оставалось только одно — пробивать себе дорогу на территорию республиканцев. Но и это нелегко было осуществить...

Наш последний бой разыгрался к вечеру. Мы только что собирались двинуться в путь, как где-то поблизости послышались выстрелы.

— Товарищи! — вскричал Агилон. — По нас стреляют!

Мы тотчас же приготовились к бою. Я побежал туда, где был Агилон, — посреди небольшой просеки, защищенной широким, но невысоким камнем, который поднимался из земли, точно спина черепахи. Остальные укрылись за деревьями и скалами. Выстрелы гремели все чаще и все ближе. Они слышались со всех сторон: неприятельское кольцо сжималось вокруг нас. Мы уже видели за камнями и деревьями проклятых гвардейцев.

Когда Агилон понял, что сражение неизбежно, он яростно воскрикнул, обращаясь к неприятелю:

— Идите, идите сюда, фашистские бандиты, дайте поглядеть на ваши звериные хари!

Он стрелял, не останавливаясь, с полным спокойствием, и ни одна его пуля не пропадала даром. Другие товарищи тоже не бездействовали. Заработал и пулемет, за которым стоял Хэнаро.

Я все время был возле Агилона, подавал ему обоймы и стрелял сам. Он был в таком боевом азарте, что почти не замечал меня. Только раз он обернулся и, видимо, вдруг осознав опасность, сказал мне:

— Иди, иди, мой мальчик, спрячься в лесу!

— Я хочу умереть около вас, — воскликнул я.

Он улыбнулся мне, признавая мою отвагу, благодаря за мою преданность, но продолжал настаивать, чтобы я ушел. Никогда еще он не требовал этого с таким упорством — это показало мне, какой опасности мы подвергаемся. Но уйти?.. Нет, ни за что! Мое место было возле Агилона.

Больше часа мы были в непосредственном соприкосновении с фашистами. Мы дожидались ночи — под ее покровом в горах Сьерры нетрудно ускользнуть от врага. Но еще до наступления ночи про-

изошло непоправимое. Пуля — предательская пуля, черная, смертельная оса — попала в Агилона. В первую минуту я даже не понял, что произошло. Я только увидел, как винтовка выпала у него из рук, лицо исказилось гримасой бешенства; потом оно вдруг смягчилось, последний взгляд обратился ко мне, и пошатнувшееся тело склонилось на мои протянутые руки. Как затрепетало мое бедное сердце! Какое отчаяние охватило меня! Сколько раз я старался заслонить, загородить его своим телом — и вот сейчас меня не оказалось на месте, чтобы принять на себя поразившую его пулю!

Агилон повернул голову, пошевелил рукой. Он хотел что-то сказать мне. Он делал усилия, чтобы заговорить... Я осмотрел его рану. Пуля попала под подбородок и пробила горло. Тонкая струйка крови стекала на его черную, волосатую грудь. Я крепко перевязал рану платком, но все было напрасно. Через несколько минут жизнь Агилона оборвалась в моих объятиях. Горько плача, я поцеловал его на прощанье.

Когда прошли первые минуты смятенья, я рассвирепел, как тигр. Я был вне себя, я бесновался.

— Негодяи! Бандиты! Только подойдите сюда! — И я принялся стрелять из еще горячей винтовки Агилона.

Хэнаро понял, что случилось, и вскоре подошел ко мне, таща за собой пулемет. Мы оба едва могли говорить.

— Неужели убит?

— Да, убит! — ответил я горестно.

— Вот сволочи! — и он пристроил свой пулемет за камнем, который служил нам прикрытием.

Фашисты все больше теснили нас. Остальные товарищи рассыпались по лесу, их выстрелы слышались теперь уже издали. Хэнаро и я, рядом с телом Агилона, который и мертвый учил нас отваге своим доблестным примером, выдерживали натиск до самой ночи. Фашистов отпугивал непрерывный огонь нашего пулемета. Когда темнота еще более сгустилась, мы решили, что сначала один из нас, а потом другой, должен выйти из нашего убежища и скрыться в горах. Так мы и сделали. Хэнаро ушел первый, а я продолжал стрелять. Потом вышел и я. Прежде чем уйти, я осмотрел карманы Агилона. Там был только старенький бумажник, перевязанный тесемкой, — я положил его себе за пазуху. Потом подтянул его тело к пулемету, чтобы фашисты думали, что пулеметчик на месте, еще раз поцеловал его и пополз к дубовой роще.

Всюду между деревьями лежали наши товарищи, павшие в бою. Я встретил Хэнаро, и мы со всевозможными предосторожностями двинулись в путь. Всю ночь, почти не разговаривая, подавленные, мы пробирались среди крутых скал горной цепи. Утром, обсудив положение, мы решили, что нам лучше расстаться и про-

должать путь порознь. Я сказал Хэнро, что намереваюсь идти в Фуэнкальенте, к моей матери.

— Как только доберешься до республиканской территории, — сказал я, — напиши мне открытку, чтобы я знал, где тебя искать, и я сейчас же отправлюсь к тебе. Будем опять вместе бороться с фашистскими изменниками!

Так мы договорились, а затем разошлись в разные стороны, крепко обнявшись на прощанье. Я долго шел один, никто меня не преследовал; мне было очень грустно, так как меня неотступно терзала мысль о смерти Агилона. Я целыми днями думал о нем, о его доблести, его благородстве, о его горячей любви к Испании. Я открыл его бумажник, но не нашел в нем ничего интересного: несколько вырезок из старых газет — статьи против фашизма, несколько небольших карт Сьерры и фотографию Агилона, как видно, снятую очень давно, где-нибудь на деревенской ярмарке. Все же мне было приятно иметь фотографию человека, которого я так полюбил.

Наконец я пришел в Фуэнкальенте, где не был уже несколько лет. Мать моя все так же неустанно трудилась и жила все в такой же бедности. Она мне очень обрадовалась; в материнском сердце любовь только крепнет от разлуки. Моя мать была добрая женщина, хотя и немножко ворчливая, как все андалуски.

Само собой разумеется, что я все рассказал ей о себе и показал карточку Агилона. Она ответила:

— Да ведь я почти ничего не вижу, сынок! Как же ты хочешь, чтобы я ее разглядела?

Она поднесла карточку к самым глазам... Вдруг она побледнела, нахмурилась и стала внимательно всматриваться в фотографию; губы ее задрожали... Я с изумлением наблюдал за ней и ждал, что она скажет. И вдруг она воскликнула, — немного по-детски, как все старухи:

— Да ведь это твой отец! — Затем, словно грозя ему, — и ласково, и немного лукаво, — она прибавила: — Ах ты, негодный, в каких только переделках ты не побывал! Говорила ведь я, что не сносить тебе головы!

Она зарыдала без слез, но я не в силах был ничего сказать ей. Я был потрясен тем, что услышал, я едва сознавал, что творится вокруг меня.

«Отец мой! Отец...» — думал я, охваченный самым могучим чувством, какое когда-либо испытал в жизни.

После этого я долгое время ходил как во сне, весь погруженный в воспоминания о моем отце и о том времени, когда мы были вместе; но так как нельзя было сильнее переживать его смерть, чем я переживал ее раньше, то, в конце концов, я даже стал находить утешение в мысли, что у меня был такой храбрый отец, доблестный патриот, верный испанец, отдавший жизнь в героической борьбе с фашистами!

Через две недели я получил открытку от Хэнаро. Он был в Пуэртотальяно и ждал меня, согласно нашему уговору. Я поспешно пустился в путь. И как только мы встретились, я, не успев еще произнести первые слова приветствия, горя нетерпением сообщить ему необыкновенное известие, с гордостью воскликнул:

— Агилон, отважный партизан, был моим отцом!

НАСЕДКА

I

Алькария это та область Испании, где добывается самый лучший мед. Не из-за меда попали туда итальянские захватчики, а потому, что были обращены в бегство, что нередко случается с итальянцами, несмотря на их крики о том, что они рождены для войны и для создания империй.

На большой дороге из Сигуэнцы в Гвадалахару стояла сельская харчевня, очень бедная, грязная, вся в паутине. В прежние времена она, может быть, и процветала; двор был переполнен повозками, торговцы и проезжающие, шумно переговариваясь, толпились у стойки; но в наш век моторов и больших скоростей дело заглохло, и ветхий дом стал напоминать развалину.

Белая дорога, точно блестящая на солнце шпага, перерезала селение пополам. А в одном конце села стояла харчевня, носившая соблазнительное название: «Bien dormir¹». «Гостиница «Bien dormir» вдовы Эметерио Переса» — значилось на вывеске, над дверью. Сочетание названия «Bien dormir» со словом «вдова» служило поводом для насмешек всем любителям позлословить, которых немало в Испании. Но вдова, по имени Агустина, не давала себя в обиду, и ее не так легко было привести в замешательство, как итальянцев Муссолини. Это была женщина уже не молодая, но крепкая, здоровая, плотного сложения, с низким, почти мужским голосом, работающая и скуповатая, как все крестьяне. Да ей и поневоле приходилось считать каждую копейку: она кормила целую ораву племянников, незамужнюю старшую сестру, жившую с ней, большого отца и двух служанок; а все ж таки она, хоть и ворчала, но всегда подавала милостыню проходившим через селение нищим.

Политикой Агустина ничуть не интересовалась; кругозор ее замыкался стенами харчевни. Война, правда, взорвала вековой уклад деревенской жизни, но не открыла Агустине новых горизонтов. Племянники и больной отец эвакуировались в Левант, обеих служанок она отпустила; сестры остались одни, но и того было довольно, чтобы обслужить харчевню. Превратности войны, без сомнения, спо-

¹ «Спите спокойно».

собствовали политической нейтральности этой женщины. Село то и дело переходило из рук в руки — сперва было республиканским, потом фашистским, потом снова республиканским, потом опять фашистским.

— Пусть себе вешают флаг, какой хотят, только бы нас не трогали, — таков был ее девиз.

О патриотизме Агустина имела весьма смутное представление. Во всякой харчевне, стоящей при дороге, постоянно толпится разный чужой народ; одни приезжают, другие уезжают, происходит, так сказать, вечная смена вторжений и эвакуаций. Когда ей говорили, что немцы и итальянцы вторглись в Испанию, она хладнокровно отвечала:

— Ладно. Придет время — уберутся!

Пока захватчики ей ни в чем не мешали, платили за ночлег, за питье и еду, были вежливы, — за что ж было их ненавидеть? Трактирщица Агустина смотрела на мир сквозь щелку своих домашних интересов и видела в нем не больше, чем осел, который только и знает, что свои ясли. Но иной раз и через такую щелку может ворваться свирепая действительность; бывает, что на какой-нибудь мелочи поворачивается вся жизнь человека. Так именно и случилось с Агустиной.

Как у всякой женщины, да еще вдовы, да еще бездетной, у трактирщицы Агустины были свои мелкие причуды. Агустина очень гордилась тем, что ни у кого во всем селе не было таких кур, как у нее: таких жирных, красивых, гладких, которые бы лучше неслись, лучше выводили цыплят... На эту тему она очень любила поговорить.

— Почему это, милая сеньора Анхеля, ни у кого, ну вот ни у кого во всей деревне нет кур лучше моих? Намедни моя пеструшка два яйца снесла, вот вам крест, два в один день, одно утром, другое вечером. Да и какое еще, одно-то! Величиной с гусиное, и с двумя желтками.

Эта пестрая курица кастильской породы, с большим ярким гребнем, свисающим набок, была любимицей Агустины. Ей каждое утро доставалась первая горсть пшеницы, первый горделивый взгляд, первая влюбленная мысль трактирщицы. Надо признать, что эта курица, хотя и не несла золотых яиц, но безусловно заслуживала поощрения. Однажды она сидела на двадцати яйцах, и только два оказалось неудачных, — случай неслыханный, способный внушить гордость любой хозяйке курятника.

В этот год, не считаясь с тем, война ли кругом, мир ли, пестрая курица, как хорошая мать, снова сидела на двадцати яйцах. Агустина заботливо устроила ее в темной камерке, с отдельным входом прямо из буфетной — просторной комнаты, где погонщики и торговцы ели похлебку и пили прохладное вино.

В это время селение находилось во власти мятежников, иными словами, во власти бандитов. Харчевня обезлюдела, так же как и селение. Агустина и ее сестра Мануэла целый день скитались по дороге, точно две тоскующие тени. Главным занятием Мануэлы было вязать чулок. Ниток у нее не было, поэтому она распускала старые чулки и вновь их перевязывала. Домашнюю же страсть Агустины, как уже сказано, составлял ее курятник.

Однажды вечером через поселок проходил отряд итальянцев; участвовавший в какой-то наступательной операции, но потерпевший неудачу и теперь пробиравшийся назад в свое расположение. Обе женщины, стоявшие у окна, увидев их и узнав в них иностранцев, не подумали, как им, испанкам, следовало бы подумать: «Будьте вы прокляты, чужестранцы, захватчики нашей Испании!»; напротив, они подумали другое: «Хорошо, если бы эти сеньоры военные зашли в харчевню, выпили вина и аккуратно заплатили по счету».

А итальянцы, и в самом деле, взяли да и зашли в харчевню. Их было пятеро, да еще шестой, их проводник, испанец. Они много говорили, были веселы и наглы, как индюки. Требовали вина и хорошеньких девочек, — то и другое в обычное время не трудно найти в трактире. Агустина вышла им навстречу, а ее сестра с любопытством рассматривала их через замочную скважину. После того как они поговорили между собой, — Агустина в их речи понимала только отдельные слова, — фашист-испанец спросил:

— Хозяйка, нет ли тут девочек помоложе тебя, чтобы поднесли по стакану вина итальянским героям?

Агустина принужденно улыбнулась:

— Откуда же? Были у меня две служанки, да пришлось их отпустить: ведь вся торговля замерла.

Девочек не было, но было вино — итальянцы помирились и на этом и не прогадали, так как испанское вино стоит двадцати трактирных девушек. Разговор их становился все оживленнее. Один принялся распевать кафешантанье куплеты; потом ему пришло в голову, что недурно бы закусить. Испанец-проводник дважды хлопнул в ладоши, вызывая трактирщицу.

— Посмотрим, мариторна, — сказал проводник, обнаруживая знакомство с языком Сервантеса, ибо я должен сказать, что это был журналист, который развлекался на фронтах, — каким вы нас угостите обедом?

— Если господа добудут какой-нибудь провизии, я могу приготовить, хотя у меня и мало оливкового масла.

— Добудут, добудут! — нетерпеливо возразил журналист, — мы добываем славу и пули за то, что защищаем вас от красных, и этого довольно. Тыл должен оказывать гостеприимство таким героям, как эти, — он указал на своих приятелей-итальянцев. — Они явились в Испанию спасать цивилизацию и культуру.

Но он только даром терял время, декламируя газетные фразы. Действительность была много проще; видимо, он это сообразил, ибо перешел к конкретным предложениям:

— Сейчас же подать нам чего-нибудь поесть! Если через пять минут обед не будет на столе, мы с пистолетами в руках произведем обыск во всем доме.

Вот теперь его слушательнице сразу стало понятно, что значит «цивилизация». Со страхом и огорчением Агустина с сестрой вытащили десяток яиц из банки, которая была у них припрятана. Они даже выпросили у соседей кусок баранины; из всего этого Агустина приготовила вкусное блюдо, которое иностранцы живо проглотили, запивая легким риохским винцом, имевшимся у нее в изобилии.

Вино делает трусов отважными, а наглецов еще более наглými. Когда пришло время уходить и расплачиваться, «герои» обнаружили свою истинно «геройскую» сущность. Заплатить-то они заплатили, хотя и скрепя сердце, с недовольным ворчанием, но затем, поднявшись из-за стола, принялись, точно хозяева, шарить по всему дому.

Тот, который пел шансонетки, случайно зашел в темную комнату, где сидела на яйцах наседка:

— Э, да тут целый клад, в этом углу! — воскликнул он. И с ловкостью летчика-истребителя бросился на мирно сидевшую наседку. Он запел во всю глотку, заглушая кудахтанье бедной курицы, в один миг свернул ей шею, сложил яйца в свой вещевой мешок и вышел в буфетную, держа еще теплую курицу за вытянутую шею.

— Смотрите, — сказал он остальным, — какой у нас сегодня будет славный ужин!

В этот момент вошла Агустина, которая было со страху спряталась вместе с сестрой в одной из комнат первого этажа. Увидев свою любимицу в столь печальном положении, она с отчаянием обеими руками схватилась за голову.

— Пеструшка! Боже мой, что они с тобой сделали! Пеструшка моя! Сокровище мое!

Агустина плакала, кричала, била себя в грудь, как сумасшедшая.

— Моя наседка! Моя наседка!

Но «герои» хохотали над этой маленькой домашней трагедией. Они вышли на дорогу. Итальянец нес курицу, ухватив ее за шею; лапки ее почти волочились по земле. Агустина вышла на порог, словно ее тянула за собой удаляющаяся мертвая любимица.

— Курочка моя! Бедная моя курочка! — причитала она.

Итальянец обернулся и, смеясь, еще раз показал ей мертвую курицу, покачивающуюся у него в руке.

— Ах, как она неслась! Певунья моя! Красавица моя!
Агустина умолкла на минуту, потом вдруг завопила, словно в припадке бешенства:

— Разбойники! Раз-бой-ники!

И в этот момент, как раз в этот момент, когда она кричала «разбойники», ее политический горизонт расширился по меньшей мере на пятьдесят градусов.

II

Внезапное похищение любимой курицы, да еще в такое время, когда та высиживала цыплят, произвело решительный перелом в мировоззрении Агустины. Чужестранцы сразу превратились для нее из сеньоров в «разбойников». Сейчас они похитили у нее курицу, а ведь, наверно, они и в других местах похищают сотни кур! Да будь они прокляты! Сидели бы у себя дома, грабили бы там кого-нибудь, а то ведь явились в чужую страну! Теперь Агустина боялась и ненавидела этих бандитов, так нагло ограбивших ее курятник и, без сомнения, грабивших все курятники, которые попадались им под руку.

Но так как не бывает неутешного горя, то и Агустина, в конце концов, быть может, забыла бы свое несчастье, если бы разбойники забыли, где можно достать вкусную курицу. Однако вышло иначе.

Недели через две к харчевне подкатил грузовик; на нем стояли пустые клетки, а на клетках сидели вооруженные люди в иностранной форме. Как только Агустина увидела их, она в ужасе побежала к Мануэле.

— Сестра, сестра! Проклятые иностранцы опять тут!

— Ох, мы несчастные! Запрем двери, как будто нас нет дома.

— Как бы так устроить, чтобы куры не закудахтали...

Они поспешно заперли дом изнутри. Слышно было, как перед входом приехавшие кричали:

— Хозяйка, хозяйка! Кто здесь живет?

Агустина выбежала на черный ход спрятать куда-нибудь кур; их у нее, вместе с петухом и цыплятами, было штук двадцать.

— Цып, цып, цып... — И она принялась фартуком загонять их в курятник, все время дрожа от страха — как бы они не раскудахтались, куры ведь любят поднимать шум.

В эту минуту из-за ограды показался один из иностранцев и насмешливо сказал по-испански:

— Что это, матушка, куры у тебя так рано засыпают? Ведь еще четырех нету.

Агустина застыла на месте, не зная, что сказать. Потом пролепетала первое, что ей пришло в голову:

— Собирается дождь, а если они намочат себе лапки, то долго не будут нестись.

Как на грех, в этот день светило яркое солнце, и нигде на всем небосклоне не было видно ни облачка.

— Да ты не трудись, матушка, мы сами загоним их в курятник. Ну! Открывай-ка дверь, а то хуже будет! — продолжал гость.

У Агустины защемило сердце. На глазах показались слезы. Открывая дверь, она думала: «Разбойники, разбойники! Они у меня отнимут всех кур!»

Как видно, к тому и шло. Агустина отворила дверь, и трое мужчин вошли во двор, за ними и четвертый, который стоял у ограды. Словно у себя дома, они стали хватать кур за лапки и относить их на грузовик.

— Мои куры, мои куры! Чем же я буду жить, если вы заберете у меня кур?

— Ну, ладно, ладно, есть о чем говорить! — сказал один по-испански. — Крестьяне вечно жалуются. А чем будет жить национальная армия, если куры останутся у тебя?

Агустина в душе прокляла национальную армию. Утирая слезы, она шла по двору, в последний раз провожая своих кур, которые хлопали крыльями и клевали руки своих похитителей. Хозяйке казалось, что бедные куры своими круглыми красными глазками смотрят на нее, спрашивают, обвиняют ее за то, что она допускает этот грабеж. Все куры были погружены на грузовик. Агустина в бешенстве выбежала за калитку и бросилась к клеткам.

— Отдайте мне моих кур, разбойники, разбойники! — кричала она, цепляясь за грузовик.

Но фашисты только захохотали в ответ:

— А мы пришлем тебе их косточки пососать! — сказал один из пришельцев по-итальянски.

— Сообщи, когда опять заведешь курятник! — крикнул другой.

— Хуже было бы, если б у тебя их отняли красные на бульон для президента республики! — добавил какой-то шутник.

Бедная женщина не могла оторваться от грузовика.

— Мои куры! Разбойники!

Итальянец с такой силой толкнул Агустину сапогом в грудь, что она упала навзничь.

— Вот тебе твои куры, чорт бы тебя побрал!

И на полной скорости грузовик покати по дороге, нагруженный награбленными курами.

Мануэла и кое-кто из соседей вышли на улицу; они подняли Агустину, которая почти без сознания лежала на дороге; изо рта у нее шла кровь.

— Разбойники! Когда уже с ними покончат, — прошептал один старик.

— Повесить бы их всех на оливковых деревьях! — прибавил другой.

Агустина целую неделю пролежала больная в постели; ее мучили сильные боли в груди. Но это был кризис, подобный новому рождению. Когда она снова встала на ноги, это уж была не та Агустина, что раньше. Она теперь понимала, кто ей враг, а кто друг. И она чувствовала, что способна сама при случае взяться за ружье. Иногда она говорила:

— Если опять придут фашисты и станут меня грабить, я не заплачу, не-ет, теперь я не заплачу!.. Я схвачу нож и всажу в грудь первому, кто мне попадется. Пусть знают, каковы мы, испанские женщины!

Для нее стало невыносимым покорно сидеть в тишине запертого дома и утешать себя робкой надеждой на лучшее будущее. Ей хотелось говорить с людьми, обсуждать происходящее, встречаться с единомышленниками.

Агустина стала бывать в поселке, что раньше делала редко. У нее появилось много новых друзей. Все, — в том числе и сестра, — советовали ей быть осторожной. Но она ни с чем не считалась. Шла все вперед, все вперед, как путник, перед которым открылся далекий горизонт. В поселке были и другие женщины, у которых фашисты отняли хлеб, или кур, или голубей, или мед, и которые, естественно, переживали это точно так же, как и Агустина.

Однажды Агустина организовала мирную демонстрацию женщин. Они чинной процессией отправились в городской совет, заявили протест алькальду и потребовали, чтобы солдаты, по крайней мере, платили, если что-нибудь забирают. Фашистский алькальд принял их не слишком любезно, и мирная женская демонстрация превратилась в маленький бунт. Вмешалась гражданская гвардия; женщины, которые шумели больше всех, — Агустина первая, — были арестованы.

В тюрьме не было преступников. Преступники оставались на свободе и, за спиной своих главарей, совершали какие хотели преступления. В тюрьме томились одни антифашисты. Их всех согнали на грязный двор, мужчин и женщин вместе.

Агустину не испугал этот новый поворот в ее жизни. Напротив, тесное общение с заключенными пошло ей на пользу. В тюрьме сидели люди, которые знали гораздо больше, чем она, и могли объяснить ей многое, чего она не понимала. Тюрьма в эту эпоху сделалась школой антифашизма. И здесь разговор шел уже не об ограбленных курятниках, а об ограбленной Испании, о захваченной врагами, поруганной, оскорбленной родине, в которой варварский кулак фашизма задушил все народные свободы. Патриоты-узники

были заперты на нескольких квадратных метрах за тюремной оградой, но сознание их обнимало целый мир; и тесный тюремный двор в эти дни был приютом свободной мысли и человеческого достоинства.

III

Наконец настал момент, когда итальянцы попытались продвинуться в Алькарию и захватить Гвадалахару, откуда открывается прямой путь на Мадрид. Этим они заперли бы единственный свободный проход в Леванту из столицы Испании.

— Вперед, мои победоносные легионы! — приказал Муссолини.

Но когда Муссолини кричит «вперед», итальянские солдаты идут назад. Сладок, очень сладок мед на холмах Алькарии, но горькая память сохранилась у фашистов об этих местах, где они бесплодно растратили столько сил. Красиво, очень красиво синее небо Испании, но темным и грозовым оно было для тех, что остались лежать в придорожных канавах, — будь то итальянцы, немцы или испанские предатели. Жестока, очень жестока превратная судьба Испании, но победы, одержанные борцами за свободу, никогда не забудутся, и долгие годы спустя каждый путник, пробирающийся под жужжание пчел по золотым холмам Алькарии, будет вспоминать: «На этой дороге республиканцы задержали фашистов, рвавшихся к Мадриду!»

Шли ожесточенные бои за обладание стратегически важной местностью, бои, которые могли или дать Мадриду свободу, или замкнуть кольцо осады. Стойко сражались республиканские бойцы, вдохновленные героическим примером испанской столицы. Исход сражения решили республиканские самолеты, яростно бросившиеся в атаку. Итальянцы, заражая друг друга паникой, обратились в бегство. Бросали убитых, санитарные повозки, вооружение, пушки, танки, пулеметы... Они бежали, бежали! Солдаты вторгшейся армии рассеивались по полям, утратив всякую дисциплину, бросая винтовки, чтобы легче было бежать. Потери фашистов были колоссальны.

А по трупам, по брошенному снаряжению, по трофеям проходили с песнями войска, вторично освободившие Мадрид.

Все заключенные вместе с Агустиной знали о происходящей борьбе и следили за ней с неописуемым волнением. Для них победа республиканцев означала не только освобождение Мадрида, но одновременно и собственное их освобождение. О, если бы они могли оказаться на фронте!.. Если бы им самим получить в руки винтовку!..

Привратником в тюрьме служил старый отставной альгвасил, который сочувствовал заключенным. Это он сообщил им, — с нема-

лым риском для себя — о том, что происходило на воле. Через него они узнали о катастрофе, постигшей итальянцев, и о продвижении республиканских сил.

Однажды утром этот старик, по имени Тендилья, придя к тюрьме, повел себя очень странно. Он принялся барабанить в двери, ведущие на тюремный двор, крича: «Эй, эй!» и произнося какие-то невнятные слова. Ему никак не удавалось воткнуть ключ в замочную скважину. Заключенные, находившиеся во дворе, пришли в изумление; они жадно выглядывали из-за внутренней двери. Наконец старик появился на дворе. Задыхаясь, он выкрикивал:

— Фашисты бежали из поселка! В тюрьме не осталось никого, никого! Выходите!

Все смешалось в радостном возбуждении.

— Мы свободны! Свободны!

— Да здравствует республика!

Заключенные бросились к дверям. Старик сообщил им, что республиканские бойцы движутся по дороге. Их уже видно с колокольни — до деревни им осталось, наверно, всего несколько километров.

Агустина закричала, обращаясь к заключенным:

— Товарищи! Пойдемте встречать наших братьев!

И все пошли за этой женщиной, решительной, как мужчина. Она пела, кричала «ура», проклинала фашистов, говорила речи, обращаясь к заключенным и к жителям поселка, которые тоже потянулись вслед за нею.

Не прошли они и километра, как из-за поворота дороги показались республиканские войска.

Шедшая во главе толпы Агустина подняла руку и громко закричала:

— Республиканские бойцы, братья наши, мы антифашистские узники! Да здравствует республика!

Жители поселка бросились обнимать бойцов.

Тогда Агустина стала требовать:

— Дайте нам винтовки! Скорее винтовки, чтобы каждый из нас мог преследовать фашистов!

Так как солдаты не спешили выполнить это требование, она схватила винтовку у одного из них и, крепко сжимая ее, пошла впереди всех. Ее возгласы звучали громко, как команда.

— Теперь вы, фашисты, увидите, какова я с ружьем в руках! Теперь приходите, и мы посчитаемся с вами за моих кур!.. и за мою Испанию!

Так она и вошла в поселок — впереди бойцов, распевая антифашистские песни, любовно лаская только что добытую винтовку.

Случай, происшедший с Агустиной-трактирщицей, скоро стал известен всем, вплоть до командира республиканского отряда. Через несколько дней, как водилось в таких случаях, на площади поселка было устроено празднество. Такие праздники всегда проходили с большим весельем, но в этот раз особенно — из-за сюрприза, который приготовил для Агустины командир отряда.

На площади возвышалась небольшая деревянная трибуна. Она была завешана тканями республиканских цветов. На балконах теснились зрители. Площадь была переполнена людьми, — народом и солдатами; оркестры играли военные марши.

Выступало много ораторов — комиссар, командиры, жители поселка, члены революционных партий, члены молодежных организаций. Все прославляли героизм Мадрида и борьбу за его спасение. Победа над итальянскими и немецкими захватчиками переполняла всех ликованием и надеждой.

Подконец все стали просить Агустину, сидевшую на эстраде, сказать несколько слов. Но она никогда раньше не выступала публично и теперь не знала, куда деваться от смущения. Она была уверена, что не сумеет связать двух слов.

В этот момент произошло нечто неожиданное. Командир отряда подошел к Агустине, держа в руках что-то закрытое красным платком. Все смотрели на него с любопытством. Что это могло быть? Как видно, какой-то подарок! Все с нетерпением ждали, когда приподнимется красный платок. Командир подал узел Агустине:

— Мои бойцы и вся Испания подносят Агустине, антифашистке из Алькарии, этот скромный подарок, символ ее борьбы против захватчиков, — и он церемонно снял красную ткань.

В корзине, перевязанной лентами республиканских цветов, на соломе сидела наседка! Площадь огласилась оглушительными рукоплесканиями; несколько минут бушевала настоящая буря. Агустина плакала от волнения. Затем настала глубокая тишина; Агустина поднялась и выступила вперед с корзиной и наседкой в руках.

— Спасибо вам, товарищи, за курицу, которую вы мне дарите! Это верно, фашистские разбойники отняли у меня наседку, похожую на эту, но сейчас я уже не горюю о моих курах; теперь я скорблю об Испании. Теперь я знаю, что фашистские захватчики являются в нашу страну не только за тем, чтобы отнять кур у бедной трактирщицы из Алькарии, а чтобы отнять у нас шахты, фруктовые сады, землю, людей, свободу, все, все... Они являются грабить нашу любимую родину, нашу Испанию! Если благодаря вам, республиканские бойцы, мне сегодня возвращают наседку, то пусть благодаря всеоб-

щей нашей борьбе завтра будет возвращено Испании, такой же почтенной хозяйке, как я, все то, что захватчики-фашисты у нее награбили!.. Пусть иностранцы и фашисты убираются из нашей страны к черту! Да здравствует республика!

Окончив речь под гром аплодисментов, она провела ласковой хозяйской рукой по перьям испуганной курицы, которая склонила голову набок и покорно уставилась круглым, как пуговица, глазом на свою новую госпожу.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ф. В. Кельин — Сесар Муньо́с Анкона́ла и его творчество	3
Рассказ в трех письмах и одном сообщении	9
Чудовища	25
Сопротивление	34
Отважный партизан	43
Наседка	57

Редактор *О. Холмская*

Подписано в печати 20 мая 1943 г. А462. 4¼ печ. л.
4,5 уч.-авт. л.

Тираж 10 000 экз. Зак. № 2952. Цена 3 руб.

1-я Образцовая типография ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфинига». Москва, Валовая, 28.

П. 53 г.

45

08

3 руб.

110

2010